



Игорь Шенфельд

ИСХОД

Игорь Шенфельд

Исход

«Accent Graphics communications»

2012

Шенфельд И.

Исход / И. Шенфельд — «Accent Graphics communications», 2012

Нет, не распахивал трехлетний Якоб Шроттке из немецкого поволжского села Гуссарен в июне 1941 года Гитлеру ворота на Москву с востока, и совершенно несправедливо наказана была по этому страшному наговору НКВД вся поволжская республика российских немцев вместе с Аугустом Бауэром, изгнанным из родного дома и депортированным в казахскую степь в сентябре 1941 года: рыть нору рядом с семейством сусликов, чтобы пережить зиму. Много зим еще последовало после той первой, и много чего довелось пережить Аугусту Бауэру. И Иосифа Сталина с его поздравительной телеграммой посылал он из таежного трудармейского лагеря прилюдно в ж... – но чудом остался жив при этом; и под взрывом первой советской водородной бомбы стоял, и тоже выжил: только шапка на голове загорелась; и целину поднимал Аугуст Бауэр в северном Казахстане, и там же, после того как развалился Советский Союз получил пинка под зад в сторону Саратова. Однако, и в Поволжье ельцинской эпохи ему объявили: «Пошел вон, фашист: твой дом уже занят!». И Аугуст Бауэр пошел... Куда он пошел и зачем, и с кем он пошел, и чем все это закончилось – об этом тоже сказано в повести «ИСХОД» (или «EXODUS» – если придать названию более соответствующий ему по смыслу библейский оттенок). Ну и еще говорится в повести немножко о Советском Союзе, который развалился скорей всего потому, что поверил когда-то поклепу НКВД на трехлетнего Якоба Шроттке, якобы открывшего Гитлеру дорогу на Москву с восточного направления...

© Шенфельд И., 2012

© Accent Graphics
communications, 2012

Содержание

Предисловие	6
Последний август	8
Трудармия	33
Буглаев	96
Конец ознакомительного фрагмента.	99

Игорь Шенфельд

Исход (Exodus)

*Памяти моих родителей – бывших узников сталинской трудармии
– посвящается*

Предисловие

Вопрос отчего развалился Советский Союз долго еще будет занимать умы историков на планете Земля. Сколько историков – столько и мнений. У автора этой повести – своя собственная гипотеза на сей счет. Автор, в отличие от собственного героя – охранника Петки, сопровождавшего партию депортированных немцев Поволжья в казахскую степь, – отрицает факт коварства со стороны трехлетнего Якоба Шроттке из поволжского, немецкого села Елшанка, который, по убеждению Петки, предал великого Сталина и распахнул Гитлеру в июне сорок первого года ворота на Москву с востока. Нет, Якоб Шроттке этого не делал, и весь народ маленького Якоба в результате этой лжи, этой чудовищной провокации, вызревшей в питер-кантропских мозгах советских вождей, пострадал совершенно незаслуженно, и автономная Республика немцев Поволжья была расформирована абсолютно несправедливо. А пятьдесят лет спустя развалился Советский Союз. Есть ли связь между этими событиями: депортацией малого российского народа – немцев Поволжья – и развалом страны, последовавшим полвека позже? Автор повести, через главного ее героя Аугуста Бауэра берет на себя смелость предположить, что да, такая связь есть. Нити ее невидимы, но реальны, хотя бы уже потому только, что все в Природе взаимозависимо, и богиня-История неделима. А беды наши оттого происходят снова и снова, что вожди наши и сами мы из века в век не желаем или не умеем воспринимать сигналы Истории; оттого происходят наши беды, что мы игнорируем ее уроки. А История, как любая богиня, особа мстительная.

За большевизм и революцию она страну уже покарала, и страна уплатила ей тридцатью или сорока миллионами жизней своих сограждан, а может быть и больше – никто точно не посчитал до сих пор. Один миллион из этих жизней – были жизни российских немцев. Не все из них погибли, нет: лишь половина. Но оставшаяся половина осталась навеки покалеченной. Несправедливостью. И постоянно ждала восстановления исторической справедливости. Не дождалась. Не об этом ли кричал Аугуст Бауэр пылающему небу под клубящимся атомным грибом на семипалатинском полигоне, не слыша собственного голоса и не замечая ни дымящейся шапки на голове, ни слепого орла, падающего к ногам? Не об этом ли размышлял и писал в своем дневнике уже другой Аугуст Бауэр, сидя на берегу мирной реки, вьющейся среди виноградных холмов западной Германии? Он смотрел в сторону России и вспоминал, как дважды преданные советской властью поволжские немцы увидели в новой российской власти в девяностые годы, в конце тысячелетия очередную надежду на свое этническое возрождение. И были преданы страной в третий и последний раз: теперь уже окончательно. Почему? С какой такой непонятной целью?

«Мне на Россию наплевать, потому что я – большевик!», – любил приговаривать вождь пролетариев Ленин. Большевиков не стало, но их курс на уничтожение России выжил, а ленинская формула, подхваченная новыми вождями по эстафете, лишь упростилась: «Мне на Россию наплевать!». Точка. Вот вам и все объяснение. Вот почему нет в России российских немцев; поэтому нет и самого Советского Союза. Да и Россия – та, настоящая, великая Россия – тоже не существует больше. Так что есть, имеется неразрывная связь событий в истории, и ткань времен соткана единой нитью.

Впрочем, в повести «Исход» вся эта философия проходит далеко не первым планом. Эта повесть – о судьбе Аугуста Бауэра, неразрывно вплетенной в судьбу страны, в судьбу России.

* * *

За моральную поддержку, долготерпение и деликатное сочувствие своему литературно-озабоченному товарищу, всем надоевшему бесконечными рассуждениями о судьбах и проблемах российских народов, автор выражает благодарность коллегам по работе – сотрудникам фирмы «Транзумед», совместно с которыми он многие годы в авральном, подчас стрессовом режиме творил добро, участвуя в строительстве и оснащении больниц и больничных комплексов в России, а также мужественным, решительным и целеустремленным основателям и руководителям фирмы «Транзумед» – Ирине Петровне Александровой и доктору Бассаму Хелю, ведущим бескомпромиссную профессиональную битву с огромным, жестоким и мощным врагом человечества по наименованию «рак». И это – на сложнейшей пересеченной местности современного российского предпринимательства, отнюдь не усеянной розами для инвесторов и энтузиастов, которым если и падают в раскрытые ладони редкие розы с благодарных небес, то преимущественно – колючками вперед...

Автор желает фирме «ТРАНЗУМЕД ГмбХ Медицинтехник», ее сотрудникам, руководителям и деловым партнерам долгих лет успеха и процветания, направленных на возрождение великой и любимой автором страны – России.

Никак невозможно отправить в печать эту книгу, не выразив искренней и глубокой признательности тем первым «бета-ридерам» ее, моим друзьям Елене Бадер, Ольге Фельдманн и Марине Фатеевой, а также, разумеется, членам моей семьи, которые еще на стадии рукописи высказывали свои критические замечания, начиная от: «Все плохо!», и до «Здорово, невозможно оторваться от чтения!», а также неустанно исправляли допущенные мною опечатки и всякого рода «ляпы», совершаемые вследствие преимущественно ночного режима работы над книгой.

* * *

Касательно имен и названий, встречающихся в повести, автор считает необходимым разъяснить следующее: данная повесть представляет собой художественное произведение. Имена, характеры, географические обозначения и описания событий являются либо продуктом воображения автора, либо использованы им с целью и в форме художественного отображения. Любые совпадения имен, событий или мест, описанных в данной книге, с реальными именами и наименованиями являются совершенно случайными.

Последний август

Клепп был плотный, мордастый и наглый. Петка, наоборот, тощий и временами почти стеснительный, а также довольно-таки бестолковый. Петка, например, никак не мог взять в толк и охватить убеждением тот факт, что стоящий перед ним Якоб Шроттке, задумчиво ковыляющий в носу, разглядывая винтовку Петки – это не просто трехлетний ребенок, но махровый немецкий диверсант, открывший Гитлеру ворота на Москву с восточной стороны. Это не умещалось у Петки в голове. Мать Якоба, тщедушная Агнес, та – еще куда ни шло: могла и попытаться открыть эти самые неведомые ворота, но и то, по мнению Петки, вряд ли осилила бы сдвинуть их с места – особенно под пристальным наблюдением целой доблестной армии НКВД, одним из воинов которой был и сам Петка. Сам себя Петка считал отличным солдатом «ЧеКа» – передового отряда Партии. Была, правда, у него одна слабость, которую он посылно скрывал: постоянные сомнения, изматывавшие его психику. Эти сомнения касались всего подряд. Чистить или не чистить сегодня сапоги? Здраваться или не здраваться с Евграфовым, которого вчера комсомольцы взвода прокатили в стенгазете? Написать или не написать своим в деревню про то, что ему со следующего месяца будут платить на пятнадцать рублей больше? Ну и так далее. Вот и теперь Петка отводил глаза, не выдерживая просящих, а может быть и просто вопрошающих взглядов своих пленников, в частности – маленького Якоба, невинно прикидывающегося трехлетним ребенком, которому, может быть, и не три годика вовсе, а все тридцать три, и он на самом деле карлик, например, засланный сюда Гитлером под видом малого ребенка? И вообще: чего они все время вопрошают, сволочи? Они ждут от него, простого солдата, ответов на свои вопросы? Так он и сам ничего не знает толком, кроме того, что они, все эти вопрошающие немцы есть враги народа. А он, Петка – солдат, который их стережет, обыкновенный красноармеец с тремя классами послереволюционного, деревенского образования, но зато с властью на кончике штыка, размеры которой все еще пугают его самого, хотя он уже и второй год как служит в энкавэдэ. Ему приказали сопровождать этих опаснейших преступников: народ-диверсант, задумавший ударить свою Родину ножом в спину – он их и сопровождает. Все, точка. Отвечать на их вопросы – не его собачье дело!

А пока Петка твердо знал лишь одно: этот подлый народ был недавно разоблачен лично великим Сталиным, автономная республика этих предателей отменена и распущена, и ему, Петке лично, вместе с другими доблестными чекистами поручено доставить врагов по назначению куда-нибудь подальше к черту на рога, откуда они не смогут сигнализировать Гитлеру: например вот сюда вот, в эту вот тоскливую степь, где их высадили посреди ночи. Удивительно, что великий Сталин всех их пощадил, и вместо того чтобы приказать их расстрелять всех до единого, или развесить по всем столбам их предательской республики, он просто отправил их за счет государства в Сибирь и в Азию – да еще и со справками об изъятом имуществе, и с вещами, и с запасом еды, а не как других – тех же кубанских кулаков, к примеру, которых выгнали из их домов и отправили в леса и степи в одних портках: валить деревья и строить тюрьмы для следующих волн врагов народа. Вот и возись теперь с этими бестолковыми немцами, которым кричишь «Пошолнах!», а они отвечают «Вибитте» и хлопают глазами. Но Сталину, конечно, видней. Сталин – величайший из всех живущих и уже умерших мудрецов! Это Петка знал твердо, и это было единственное, в чем он не сомневался ни секунды, потому что даже короткая секунда такого рода сомнений могла стоить ему жизни: эту истину Петка уже успел постигнуть за время своей недолгой службы трудовому народу в рядах энкавэдэ. Поэтому – прочь сомнения и на сей раз: если великий Сталин сказал, что трехлетний Якоб Шроттке – диверсант, значит он диверсант и есть. И винтовку он рассматривает, наверно, тоже с сугубо диверсантской точки зрения: изучает конструкцию затвора, например, чтобы сообщить потом своим гитлеровцам. Потому что великий Сталин никогда не ошибается.

И убедившись окончательно, что трехлетний Якоб – враг народа, Петка гнал его от себя грубым словом, хотя и не бил: в конце концов, Петка родился в деревне, где к детям и к скоту приучали относиться бережно: именно от них зависело в прошлом будущее. Но то было в прошлом. Теперь, при советской власти все устроено иначе, знал Петка: при советской власти все зависят только от советского, социалистического государства, от родной Партии и от товарища Сталина, который является для этого государства и рулевым, и капитаном, и судьей, и прокурором, и беспощадно карающим мечом возмездия одновременно. Все это, и многое другое разъяснял Петке в том числе и его друг Клепп: его старший, более опытный товарищ, прошедший огонь и воду и даже трубы – не медные, правда, а простые, водопроводные, которыми Клепп был бит, когда арестованные взломали автозак и сбежали. С тех пор Клепп был всегда начеку, и тому же самому – а именно: быть всегда начеку – учил и своего подчиненного Петку.

Враг народа Якоб убежал от Петки без слез. Плакать в эшелоне разучились все – даже дети: это было и бессмысленно, и опасно. И вообще. Плачут, чтобы стало легче, или чтобы чего-нибудь добиться. Но легче стать все равно не могло, а добиться можно было лишь ареста и снятия с поезда. Еще плачут от обиды. Но это с непривычки только, когда обиды – в новинку. А еще плачут со страху. Но и страха больше не было. То есть он был, но хронический, привычный; он застыл в костях и никого больше не содрогал. Все силы тела были сосредоточены только на одном: выжить. Слезы тут не помогали: они лишь вымывали соль из организма, которую следовало беречь, а потому были недопустимы. То есть их просто не было. На это обстоятельство внимание Петки обратил Клепп: совсем не плачут, сволочи, потому что – закаленные лично Гитлером; потому и враги. А с врагами нужно поступать по-вражески!

Юный враг Якоб, отосланный по-русски к такой-то матери, не понимая русского языка, догадался тем не менее детской интуицией своей, что гонят его вовсе не к собственной маме, а непонятно куда, отошел в сторону и рисовал теперь палочкой большие круги на земле. Возможно, это были опознавательные знаки для гитлеровских самолетов. Но если бы Якоба спросили сейчас, что он рисует, то он скорей всего издал бы враждебный Петке звук: "Brot". Хотя слово «хлеб» маленький Якоб умел уже произносить и по-русски: беда – лучший учитель словесности. Но по поволжской привычке он произнес бы все-таки, пожалуй, на поволжском диалекте слово: «Прот».

На немецкий, поволжский лад звали переселенцы и своих конвоиров – Глеба и Петьку: Клепп и Петка. Клеппа не любили: он бесцеремонно брал все, что хотел. Он всегда хотел жрать, а поскольку довольствие для конвоя отсутствовало с момента выгрузки в степь, то он и брал сам. А чего дипломатничать с врагами? Их сам Сталин наказал, а нам, маленьким исполнителям воли великого вождя и сам Бог велел, чтобы им это наказание медом не казалось. И пшеном – тоже. И картофелем. И кукурузными лепешками. И Клепп приходил и брал что ему надо: одеяло, хлеб, даже сало или шмальц – если у кого подобное сокровище еще обнаруживалось в глубоко значенных запасах.

Петку, наоборот, иногда почти любили: во-первых, он был тоже крестьянин – это было написано у него на лбу. Во-вторых, у Петки была совесть: он голодал, но ничего не брал сам – только стоял и слатывал, пока ему не давали поесть. Петка даже штык от винтовки одолжил как-то однажды Аугусту Бауэру: копать землянку. После чего получил от Клеппа строжайший выговор с последним предупреждением, и спешно забрал штык назад. Но Аугуст уже успел к этому времени пробить полметра самого твердого слоя, и дальше копал уже разными металлическими предметами из домашнего скарба, и выгребал грунт руками.

Ох уж этот Клепп. Однако, терпели и Клеппа. Во-первых – деваться все равно было некуда, а во-вторых: «Все-таки, эти двое – они оба представители государства, – толковали депортированные, – и даже хорошо, что они нас охраняют: на нас никто не нападет, это во-пер-

вых, и никто не скажет при таких авторитетных государственных свидетелях, что мы, немцы, тут, в степи, опять ЭТОМУ ворота открываем: это уже во-вторых» (страшных слов "Hitler", или "Stalin" немцы старались не произносить, чтобы у «представителей государства» не возникло ненужных подозрений о диверсионном сговоре).

Петка и Клепп. Союз революционного рабочего класса и трудового крестьянства, две могучие силы, слившиеся в передовой отряд под названием «ЧеКа», чтобы щитом и мечом пробить для народа дорогу к светлому будущему: к коммунизму. Здесь, в степи, вместе с депортируемыми, они тоже бились за светлое будущее, и эту истину Клепп постоянно вдальбивал бестолковому Петке. «Магнитная стрелка партийной сознательности не должна затупиться у чекиста ни при каких жалостных обстоятельствах, – говорил он, – а не то тебе конец, Петька». Петка согласно кивал, хотя про магнитную стрелку соображал туго: где она располагается и как проверить ее на остроту заточки? Но ничего не спрашивал, чтобы не сойти за полного придурка в глазах Клеппа. Глядя на этих двух чекистских воинов, становилось до наглядности понятно, почему в революции победили именно большевики, а все остальные – эсеры, народники, кадеты и прочие горлопаны – сошли с круга. Слезливые горлопаны сошли с круга потому, что слишком настырно протягивали к народу свои добрые руки, что-то постоянно суля и предлагая ему; русский народ же, по природной доверчивости своей вечно надуваемый со всех сторон, научился за тысячелетия осторожности: чем больше к нему лезут с добрыми руками, тем больше он опасается. Поэтому народ не пошел за эсерами-кадетами-народниками и прочими горлопанами. Он, на самом деле, за большевиками тоже не пошел, однако большевики поступили принципиально иначе в сравнении с прочей революционной нечистью: они никому рук протягивать не стали; они просто явились с наганами, перестреляли кадетов-народников-эсеров и прочих конкурентов, и взяли себе все целиком и разом. Взяли в рабство в том числе и сам народ, и объявили его объектом грандиозного социального переустройства; взяли они и то, что нашли у народа по сусекам, коробам, на печи и под лавкой, и в сарае, и в подвале, и в хлеву; и из буфета-горки тоже все вытрясли: вымели все под метелку, короче. И ограбленный, враз до нуля обнищавший народ просто-напросто вынужден был немедленно встать к большевикам в очередь за миской каши: да еще и с благодарностью за то, что ему позволяют выжить. А большевики распределяли эту кашу по своему усмотрению, оставляя за собой право попенять крестьянину за дармоедство. Большевики были мудры, как сам сатана, и стали через это сильными, как миллион Клеппов. Они пасли свой народ, как муравьи пасут тлю, питались от народа, сортировали его по своему усмотрению и расчетливо, со знанием дела расстреливали. Народ относился к расстрелам не совсем равнодушно – на что и был расчет! – и вот уже в массах осиротелых родственников зарождались новые потенциальные враги, и как круговорот воды в природе ежесекундно питает жизнь на земле, так круговорот врагов в народе давал советской власти бесплатную рабочую силу на строительство коммунизма – самого светлого будущего в истории человечества: будущего, какое человечеству еще не снилось...

Об этом светлом будущем, какое немцем еще и не снилось, Клепп, построив немцев в шеренги, проводил с ними иногда яростные агитпропаганды: без всяких инструкций, от себя лично, от имени своего собственного, революционно бьющегося сердца (этим прежние коммунисты отличались от последующих поколений, живущих только умом и расчетом, но уже не сердцем). Немцы ничего не понимали из речей Клеппа, но со всем соглашались – лишь бы разойтись поскорей: на ветру стоять было холодно. Как правило, агитбеседы заканчивались «обходом». При обходах Клеппу положено было давать еду. Это называлось «продналогом в пользу представителей государства»: штука, хорошо известная немцам и по Поволжью. Поэтому давали – кто со вздохом, а кто и со слезами.

Да, немцы кормили вечно голодных Петку и Клеппа. Но и конвоиры оказались нужны переселенцам. Именно они, как официальные представители государства, наладили контакт

с «большой землей». Конечно, сделали они это не ради спасения немцев, но лишь ради собственного выживания, потому что на носу была зима, а пост не бросить, а выжить на морозе в степи по стойке «смирно» невозможно; как невозможно выжить и бегая кругами вокруг этого проклятого лагеря прикинувшихся советским народом диверсантов – уже вовсю кашляющих, уже вырвавших голыми руками первую могилу поблизости; диверсанты, как оказалось, вовсе не отличались могучим здоровьем: тут Гитлер просчитался, сволочь, и диверсанты его мерли как мухи. Но и Петка, и Клепп отлично понимали: когда у этих вражин кончится еда – тогда и им, доблестным представителям славной армии НКВД наступит, заодно, тот самый знаменитый «Гитлер – капут». И вот старший по званию Клепп двинулся по шпалам в сторону северного горизонта в поисках довольствия и дальнейших распоряжений.

В его отсутствие Петка снова дал свой штык Аугусту, а мать Августа Петке – тарелку гороховой каши, хотя сушеный горох уже был на вес золота, и как пережить зиму – никто не знал. А уже висел по утрам на стелых ковылях колючий иней и звенел на морозе от прикосновений и сам по себе, и звон этот был пронзительно тонок и недобр. Зато работа по вкапыванию в землю пошла быстрее, гораздо быстрее. Кстати сказать, та яма, которую Аугуст уже успел вырыть, пошла на упомянутую могилу: не мог Аугуст отказать односельчанам, соседям по улице, семье Циммеров, с которыми прожил и проработал рядом всю свою жизнь; у тех к общей беде добавилось личное горе – умер трехмесячный ребенок, а на следующий день добавились еще и Липперты, у которых умерла бабушка. Так и похоронили ребеночка на груди чужой бабушки, завернув обоих в кем-то пожертвованную холстину. Получилась мертвая связь поколений по-советски. Но избави Бог: Аугуст этого даже у себя «дома», в шалаше из ковыльных снопов не осмеливался проговорить: только подумал. Он и раньше любил иногда поразмышлять об устройстве мира и предназначении человека в нем.

Так вот: теперь, когда осень уже надвинулась вплотную и стало ясно, что ковыль от зимы не защитит, нужно было торопиться изо всех сил. Прежде всего из-за отца. Отец все время мерз, и опухлость его не спадала: сердце недокачивало и болело. Ночами отец тихо стонал и боялся умереть. Днем почему-то не боялся.

Аугуст копал теперь все время, без перерывов, даже ночью, если сил хватало. После того, как Клепп отбыл на север и никто не верил, что он вернется, и после того как Петка дал Аугусту штык, работа стала продвигаться быстро. Правда, теперь уже не там, где вначале, возле путей, но подальше, примерно в километре от железной дороги – там где горбатились холмики и тянулась куда-то балочка с ручьем. Ручей был едва жив, но все-таки это была вода, а значит – жизнь. Надолго ли? – это отдельный вопрос. Холмики – это было просто везенье, которое в данной ситуации можно было считать за счастье: под такой холмик можно было подкопаться, и он создавал естественную, непротекающую крышу; и можно было пробить косо дыру для дыма, и занавесить вход ватным одеялом; и собирать побольше ковыля на зиму: еще целый стог можно было успеть собирать. И тогда зима, глядишь, и помилует. Как быть с едой когда кончатся запасы – об этом пока думать не хотелось: надо было просто рыть, а не рассуждать. И Аугуст рыл. Мужчины из других семей уже стояли в очереди за штыком, и Петка перестал голодать и стесняться: он теперь, в отсутствие Клеппа ходил петушком и даже покрикивал. Поскольку делать ему было абсолютно нечего, то он принялся обучать немецких переселенцев русскому мату. Они повторяли за ним, а он заливался на всю степь тоненьким жеребьячим хохотом, а иногда даже падал на спину и дрыгал ногами, а затем бегал вокруг «лагеря» и произносил эти же свои ругательства, но уже с немецким акцентом, отчего распаял себя и гоготал еще громче. Немцы смеялись с ним вместе и говорили друг другу тихонько: "Ober konz vorükt isch toch tiser". Хорошо, что Петка ни слова не понимал по-немецки, волжского диалекта русских немцев – тем более, а то бы он показал им «конец форюкт», то есть – «совсем чокнутый». Он бы и штык у них отобрал немедленно, и в город ушел бы от них сгоряча: пускай сами подышают без него!

Но Петка не понимал ни хрена, и веселился уже с утра, когда на его «гут морген» ему отвечали его же русскими, выученными вчера словами. «Ну, немчура! – вопил он в восторге, – ну, босота саратовская! Ничё не умеют!». На радостях он даже позволил своим подконвойным перебраться поближе к холмам, поскольку сказано было при отправке эшелона: «на свободное поселение». Это означает: хочешь – у рельсов, а хочешь – у холмов. Зачем-то великий Сталин дал своим врагам такую вот обширную свободу передвижений. Но Сталину видней, Сталин сверху видит все! И Петка отправился охранять порученных ему депортированных к холмам. Ему было все равно где их вражеским душам подышать милей: у холмов или возле рельсов!

А жизнь, между тем, полна сюрпризов, и многие из них возникают на физиологической основе, а не на идеологической. Так вот: в семье у Элендорфов была девочка Эмма, и Петка в нее влюбился от нечего делать. Эмме было всего пятнадцать лет, и она не знала еще как себя нужно вести, когда тебя пытается обнять полномочный представитель НКВД при исполнении. Она стала вырываться и поцарапала представителю НКВД глаз до самой ноздри. А любящая мать Эммы ударила к тому же Петку сзади ведром по голове. Это был бунт, и ради усмирения его Петке нужно было полноценное вооружение. Поэтому он забрал у Аугуста свой штык, приладил его опять к винтовке и распорядился почти готовую землянку отвести под тюрьму, в которую и посадил под арест строптивую Эмму. С матери девочки он потребовал – до суда! – подписку о невыезде, однако не на чем было ее составить, и она была сделана в устной форме. Депортированное в степь немецкое население отреагировало на эту меру воздействия, по мнению Петки, с большим пониманием и даже покивало-покачало головами, произнося все то же свое: «конец пшоерт истер шайскерл квора» (что в переводе с диалекта означало: «совершенно спятил этот засранец»), что Петка интерпретировал, однако, как «так ей и надо». «Конечно, так ей и надо!», – согласился с немцами Петка: «потому что власть есть власть, и энкавэдэ – это вам, гансы, не палец в жопе, но карающий меч революции в крепких ножнах, но который можно быстро достать из ножен и сделать того самое: чик-чирик и гитлер-капут. Всем понятно?». Про «капут» всем было хорошо понятно, и депортированные дружно закивали.

«Их можно даже постепенно того: перевоспитать тут в степи», – подумал удовлетворенный Петка, обдавшись жаром от мысли, до какой же крайней степени всегда прав товарищ Сталин, и направился в новую землянку-тюрьму перевоспитывать хотя бы эту глупую Эмму для начала.

Однако, персональной педагогике Петки не суждено было осуществиться. Снаружи раздалась крики, и Петка, с раздражением выглянув из «тюрьмы», увидел с высоты холма приближающуюся с севера, дымящую до небес дрезину. На дрезине ехали двое: ярко выраженный Клепп и посторонний машинист – железнодорожный красноармеец. В дрезине были навалены разнообразные предметы. Клепп махал издали: всем – сюда. Побежали к дрезине – разгружать. Разгрузили быстро, и красноармеец, стуча железными колесами, умчался обратно на север, быстро скрываясь из вида в синем дыму прогоревшего мотора.

Возвращению Клеппа депортированные обрадовались больше, чем доставке на Большую землю с северного полюса героев-челюскинцев, хотя радовались и не столь бурно. «Шау маль: унзер тайфль иш витер та» («глядите-ка, наш черт обратно тут»), – говорили они друг другу, с нетерпением ожидая, что сообщит им их «тайфль», и что будет дальше.

А дальше было вот что: началась новая глава в истории покорения Казахстана немцами Поволжья из села Елшанка (сами немцы называли свое село "Husagen"). Историчность возвращения Клеппа состояла в том, что Клепп привез продукты питания: муку, картошку и соль (правда, только для представителей власти, но и это уже было хорошо: это позволяло переселенцам отныне намного точнее планировать расход оставшейся еды). Привез Клепп еще и керосинку с керосином, что сделало охрану – благодаря горячей пище – куда более снисходительной к нуждам народа. Но самое главное и основное: Клепп привез инструменты – лопаты,

ломы и зачем-то грабли для сена. С приездом Клеппа прояснилось кое-что и относительно статуса ковильных переселенцев, сброшенных в этом месте с поезда. Оказывается, их высадили в чистом поле по вине пьяного начальника поезда, который, якобы, лишь в конце пути обнаружил, что к эшелону пристегнут лишний вагон.

На самом деле все было не так: оказывается, бесовестный негодяй сделал это нарочно, для того, чтобы получить лишние деньги и продукты питания в качестве довольствия на сопровождающих: вагон был, по сути дела украден им у другого состава (так установило следствие в результате жалобы деятельного Клеппа). Весь состав должны были в конце пути встречать местные власти и распределять депортированных по домам и по рабочим местам. А негодяй-начальник поезда, чтобы его подлый мухляж не всплыл на поверхность взял и сбросил, не доезжая до конечной станции, сорок лишних душ в степи в надежде, что авось они передохнут за зиму, и все быльем порастет. И если бы Клепп не появился в городском управлении НКВД с требованием довольствия на степное содержание охраны, то все так и осталось бы шито-крыто, и сошло бы с рук подлецу. Но теперь вина его полностью доказана, и коварный начальник поезда Жмыхов уже расстрелян, официально сообщил депортированным Клепп. Еще он рассказал немцам, что начальник поезда пытался все свалить на составителя эшелонов, но фокус этот у него не прошел; хотя на всякий случай составителя эшелонов тоже осудили и отправили на фронт, в штрафной батальон: уж там он много не напутает больше.

– Вот, граждане немцы: вы все являетесь теперь историческими свидетелями о том, до какой высокой степени справедлива Партия к своему народу: никому она не позволит пропасть зря. Для этого она вооружена своим лучшим, недремлющим оком по имени Энкавэдэ, мимо которого никакая вражеская мышь не прошмыгнет, не то что какой-нибудь сраный начальник поезда, или составитель поездов, или... – Клепп сделал многозначительную, педагогическую паузу, – ...или лазутчики германского фашизма. А также дезертиры! Всем понятно?

Всем было понятно, что Клепп о чем-то спрашивает, и что нужно соглашаться, и все дружно закивали. Но вот только все хотели еще знать, что с ними дальше будет – теперь, когда ошибка обнаружена. Будут ли их еще встречать по разнарядке, расселять по теплым домам, учитывать «Kwitanzен», выдавать коров взамен отобранных, и так далее? Будет это все в ближайшем будущем? Аугуст, от лица общества, кое-как перевел вопрос.

– Начальник Энкавэдэ просил передать вам, чтобы все вы до последующих распоряжений сохраняли полное спокойствие и веру в мудрость Партии, которая никогда не оставит свой народ в беде – даже если этот народ совершил такое тяжкое преступление как вы, – ответил на этот вопрос Клепп, – Каждый в нашей рабоче-крестьянской стране имеет право на преступление и наказание, и ничего страшного в этом нет: нужно только потом достойно исправиться на благо Родины, и не пытаться никуда сбежать. За дезертирство и за попытки вступить в преступные связи с врагами Отечества – расстрел на месте! Это нужно помнить каждому гражданину страны днем и ночью! Ясно?

Переселенцы понятливо покивали снова, и принялись дружно окапываться – «до последующих распоряжений». Клепп с Петкой были донельзя довольны результатом командировки старшего. Ведь, кроме всего прочего Клепп привез с собой, оказывается, еще и огромную бутылку самогона.

Что ж, все было плохо, но все равно не хуже смерти... Ждать так ждать. Люди даже улыбаться стали снова: лопаты! Лопаты – это было спасение. Удивительно, но факт: ни один из немцев не догадался прихватить с собой из дома лопату. За это тупоумие Клепп с Петкой уже неоднократно пеняли им в матерной форме: «Нет, ну ты глянь на этих гансов! – издевались они, – будильник взять в дорогу не забыли, чтоб на тот свет не опоздать, а обыкновенную лопату – себе же могилу вырыть! – забыли: ну не придурки ли? Не-ет, Петька, таких-то дураков мы к весне точно расколошматим! Если уж эти, советские немцы, которые почти что наши и

советское радио с детства слушают, такими остолопами выросли, то чего уж тогда говорить про тех, гитлеровских фашистов. Конечно, мы их в два счета побьем скоро, дурных таких... «Хенде хох! Гитлер капут!», – кричал Клепп Петке, и тот, подняв руки вверх, убежал в степь, время от времени падая для достоверности. Это они такие агитспектакли устраивали со скуки. Все осторожно смеялись, а Петка и Клепп после хохотали полдня, переламываясь пополам.

Но все это ладно: будни жизни. Главное – появились лопаты. За них, за эти лопаты, а также за то, что они теперь жрали свое, а не чужое, Клеппу с Петкой простили все, и даже полюбили их, как неизбежное и неотделимое от действительности зло, которое – как подсказывал совокупный опыт жизни – все равно ведь должно в какой-нибудь форме да существовать, правильно? Так лучше уж, чтобы оно существовало в форме Петки и Клеппа: в форме, привычки и закидоны которой уже предельно хорошо изучены.

Как же все-таки незаметно смещается под влиянием обстоятельств шкала моральных ценностей человека и вся система его мировосприятия! Еще и месяца не прошло от начала мучений несчастных изгоев, но уже относился бездомный народ к Клеппу с Петкой – своим мучителям – как к истинным и непререкаемым вождям своим и благодетелям всей поволжской немецкой нации, а эти драные энкавэдэшные менты принимали все это как должное. Их легко избрали бы сейчас всеобщим голосованием в какой-нибудь горсовет, если бы подобная разлюли-дуристика была возможна в те строгие времена. Каждый день в своих конвоирах жители нор находили все больше положительных качеств, и дело до того дошло даже, что в рябом и конопатом Петке кто-то из депортированных отметил скрытую красоту души, а Клепп и вовсе показался кому-то истинным Зигфридом, который обязательно должен понимать по-немецки. Иные депортанты – особенно неокрепшие еще сердцем гражданочки типа юной Эммы – вполне готовы были вступить с конвоирами в сердечный, и даже еще более тесный контакт: совершенно добровольно, причем.

«И ничего тут не поделаешь, потому что жизнь есть жизнь: она состоит из страстей и желаний, и из жажды жизни, и все это двигает вперед эволюцию людей, – печально размышлял Аугуст Бауэр, – а рабы всегда будут восторгаться своими мучителями, покуда их кто-нибудь не надоумит о том, что господ можно не только любить, но и резать. И тогда происходит революция, и все переворачивается вверх ногами, в результате которой становится понятным, как хорошо было до революции и без нее, и бывших тиранов память народная начинает превращать в народных героев, а новые тираны создают себе новых рабов, и все начинается сначала».

Кое в чем Аугуст оказался прав: много-много лет спустя, когда уже, из безопасного отдаления сорваны будут все маски с сатрапов и насильников прошлого, и сами сатрапы будут «зарезаны»: названы по именам и развенчаны, все еще будут находиться сотни и тысячи безумных – в том числе из бывших депортированных, интернированных, опущенных и раздавленных —, которые будут шагать с красными, кровавыми, вовек не просохнувшими знаменами и воспевать раздавивший их режим. Мало того: яростно, с пеной у рта будут кидаться престарелые свидетели сталинского, ГУЛАГовского социализма на ругателей сталинизма, ностальгически воя о том образцовом порядке, о тех благословенных временах, когда «Шаг вправо, шаг влево: конвой стреляет без предупреждения...».

Но то будет еще нескоро. А пока в казахской степи, возле железной дороги началось дружное социалистическое строительство: сначала – миром – возводилась официальная землянка для представителей власти, а потом уже, в индивидуальном исполнении – остальные жилища для невольных степных поселенцев. Если бы тогда существовало уже в культуре земель понятие «хоббиты», то оно наверняка прижилось бы применительно к депортированным казахским немцам первого созыва. Возможно, с уточняющими переделками типа: «бедоббиты» или «недоббиты»...

Однажды ехал на низкорослом коньке мимо этой странной холмонорковой Недоббитании старый казах в самодельной островерхой шапке, остановился, не выказывая ни малейшего удивления, постоял немного, понаблюдал за хоббитами, слагая, очевидно, в сердце своем свежую песню о новом проявлении жизни во Вселенной, и ускакал восвояси с этой самой песней на устах. Потом еще несколько раз приезжали другие казахи, напоминаящие первого как родные братья, которые и вели себя очень похоже: стояли долго и задумчиво, а затем срывались и уносились с криком вдаль: то ли с вольной песней в горле, то ли матерились по-казахски в такой художественной форме. Депортированные смотрели вслед казахам с симпатией и завистью: кони и песни были наглядными символами свободы. А сами казахи скакали к себе домой: это было понятно каждому и особенно грустно: у кого-то есть еще дома...

К первому снегу все были уже под землей. И слава Богу! И слава лопатам как мужского, так и женского рода! Ведь в немецком языке штыковая лопата – дер шпатен – имеет мужской род, а совковая – ди шауфель – женский. Клепп, молодец, привез и тех и других, так что мужчины и женщины рыли теперь в едином порыве. И не только они: малые дети, не умеющие держать лопату, гребли землю просто ручонками: скорей, скорей, в землю, глубже, скорей, скорей, скорей... И – успели!

С появлением лопатушек можно было не бояться больше, что мертвые останутся лежать на земле непохороненными; теперь даже зимой, даже в лютый мороз их можно было похоронить в землю, по-христиански. Все-таки Клепп молодец. Теперь, благодаря лопатам несчастные депортированные немцы полюбили злого Клеппа не меньше, чем доброго Петку. А к Петке относились вообще как к родному. Потому что Петка влюбился в Эмму Элендорф, а любовь эта оказалась запретной. Запретил ее Клепп. Немцы осуждали Клеппа за гонения любви, но за лопаты ему прощалось и это. А Петке сочувствовали. Все знали о страданиях Эммы, которая своими ушами слышала, как Клепп запретил Петке проявлять чувствительность к врагам народа в любой форме. И хотя очень способная к языкам Эмма поняла не все из ругни Клеппа, но основное она поняла, и это ее возмутило страшно: Клепп втолковывал Петке, что изнасиловать врага народа без любви, по приказу Партии – это можно, но проникаться нежными чувствами сердца по отношению ко врагу – это совершенно недопустимое, антипартийное безобразие. «Потому что любые сношения с врагом бросают тень на результаты всей Великой Октябрьской Социалистической Революции! – кричал Клепп, – потому что от врага народа может родиться только еще один враг народа: понимаешь ли ты это, деревянная твоя голова? Это же чистой воды диверсия! Тем более, что на этой скользкой почве нездоровой похоти на тебя было совершено покушение. Ведь это не тебя лично, Петьку Петухова ударили по башке, баран ты безмозглый, а это самую советскую власть в твоём полночленном лице представителя карающих Органов грубо оскорбили ведром по голове! Соображать надо, лапоть ты штопанный!»...

Нужно сказать, что семья Элендорфов за нападение на бойца НКВД путем оцарапывания последнего и удара его ведром по голове отделалась в конце концов относительно легко: Клепп оштрафовал Элендорфов всего лишь на один кусок сала – правда, на последний. Это наказание предупредительное, разъяснил Клепп семье Элендорфов, и по тяжести своей – почти символическое, если учесть, что по Уставу за такое преступление полагается расстрел у входа в землянку без последнего слова и без пересмотра приговора в высших инстанциях. Мать Эммы Элендорф очень плакала от радости, что все так хорошо обошлось. Хотя злые языки, которые есть и будут всегда и везде – даже в аду – утверждали, что мать Эммы плачет на самом деле не из-за несостоявшегося расстрела, а по салу. Сама же Эмма была расстроена вдвойне: из-за сала и из-за Петки. Последний ей очень даже нравился, тем более что других женихов все равно не сыскать было до самого горизонта... Особенно сильно Эмму оскорблял тот вопиющий факт,

что как «врага народа» ее изнасиловать разрешается, а любить вне партийной линии – уже нельзя. «Это что же за поганая партийная линия у них в НКВД такая, которая может до такой крайней степени унижать человеческое достоинство?», – спрашивала себя Эмма. Но, конечно же – спрашивала молча, чтобы лишний раз не получить от матери по губам за свой бойкий, но глупый язык. На уровне Петки она пыталась провести мысль, что согласна отказаться от любви по партийной линии, и пусть он поступит с ней как с самым наизаклятейшим врагом народа. Но Петка ее не понял, или не захотел понять. Он прогнал Эмму прочь от себя со словами: «Иди нахаузо, Эмка, дура, иди цурюк в свой лох нахаузо. Руссиш солдат немец никс либен. Революцион! Гитлер капут! Никс либен врагов!».

Безутешной Эмме оставалось лишь рыдать в своей норе, но она немножко и радовалась одновременно: ведь это ради нее любимый Петка выучил немецкий язык, и какая бы замечательная семья могла бы у них получиться, если бы не эта противная Петкина партия! Ну почему все так несправедливо устроено на земле? Ну почему?

Петка подчинился революционной дисциплине и подавил в себе все нежные позывы плоти, чтобы не очутиться однажды вместе с этими неуместными чувствами у суровой, расстрельной стенки – в соответствии с революционным учением Клеппа. Ведь Петка, хотя и был бойцом Энкавэдэ, но грозен он был только с лицевой стороны, обращенной к гражданскому населению. Со спины же, за которой скрывался от народа страшный Лаврентий Павлович Берия, маленький Петка был абсолютно незащищен – меньше даже защищен, чем весь остальной советский народ, потому что жалкая, синеватая, хребтистая спина Петки и ему подобных доблестных воинов НКВД была у грозного Лаврентия Павловича на виду постоянно – день и ночь, по праздникам и по выходным – тоже. При этом Петка еще и коммунистом не был: не дорос пока. И, положа руку на любое место тела – не очень стремился дорасти: у его прадеда по материнской линии когда-то, до турецкой войны было два коня и три коровы, и если все это вскроется однажды в процессе вступления в партию, то для него, разоблаченного буржуазного элемента и лазутчика царизма наступит кирдык при полной луне – тот самый кирдык, которого так боятся все эти штрафные немцы, предавшие товарища Сталина в самый ответственный момент истории...

Отлученный от любви Петки ходил кругами вокруг охраняемого им объекта – подземного населенного пункта, не нанесенного ни на одну карту мира, и думал в адрес своего старшего боевого товарища и политического учителя Клеппа: «Ну, погоди, паскуда: придет время – уже поквитаюсь я с тобой...».

* * *

Эх, лопаты-лопаты: проклятые лопаты, проклятая степь, проклятый Сталин! В схваченную первыми морозами чужеземную глину уложил Аугуст в начале ноября отца своего Карла Карловича Бауэра – героя первой мировой войны, российского солдата, георгиевского кавалера с осколком под сердцем и тяжелой контузией головы. Когда их гнали на станцию – уже тогда отца везли на телеге, потому что он начал опухать: от переживаний последних дней осколок двинулся в сторону сердца; отец стонал от боли, сердце его, пугаясь осколка, сжималось и недокачивало, и отец задыхался. Но у него были сильные, крестьянские корни, и он осилил долгий путь в эшелоне, а также первые дни под открытым небом в чужой степи. Но однажды ночью ангел его, видящий его страдания и страдающий вместе с ним, сжалился над ним и сказал ему: «пора, пошли!» На долю секунды Карл Бауэр ощутил бездонное отчаяние конца, а потом сердце его бросилось, как на амбразуру, на острый осколок и, содрогнувшись на миг от последней земной боли, остановилось навсегда. Он ушел в другие миры. Аугуст же и его род-

ные познали совершенно новую для себя науку беды: горе, оказывается, умеет парализовать страдание. На большое страдание у них просто не было сил. В них жила тоска, заменяющая страдание, и они таяли сами, не зная что будет с каждым из них завтра.

Теперь их осталось в норе четверо: сам Аугуст, мать его Амалия Петровна, сестра Беата и младшая сестра матери, тетка Катарина, пришедшая семнадцать лет назад жить к ним в дом в качестве няньки брата Вальтера, да так и оставшаяся с ними... Брат Вальтер. Вместе с ним их должно было быть пятеро сейчас. Что же случилось с ним? Жив ли он? Когда они стояли несколько дней на какой-то станции, кажется она называлась то ли Арысь, то ли Арыся, Вальтер пошел за кипятком и больше не вернулся. Они искали его, и сам Аугуст обежал несколько раз все вокруг, промчался по всем перронам, каждую секунду опасаясь, что поезд уйдет, и он автоматически превратится в дезертира, но Вальтера так и не нашел. Он сообщил о пропаже брата начальнику поезда Жмыхову (немцы называли его «Цмикофф»), но тот лишь цинично предположил: «Может быть, он уже с крыши какого-нибудь дома Гитлеру вашему сигнализирует?». Между тем поезд тронулся и покатил дальше – в неизвестном направлении, к неизвестной цели.

Горе от депортации померкло от этого страшного события: их маленький Вальтер был всеобщим любимцем, их маленький Вальтер был счастливой, всегда улыбочливой звездочкой в доме, отличником в школе, веселым заводилой во всех делах. Он хотел стать учителем, он как раз окончил школу, готовился к выпускному вечеру, когда началась война; он собирался ехать учиться в Саратов, а может быть и в Ленинград: там был педтехникум для ребят из немецкой республики и для других российских немцев – с Кавказа, Крыма, Украины... Вальтер дружил с ребятами из соседнего русского села, и прилично говорил по-русски... Для всего их вагона он был главным переводчиком, главным послом с внешним, отвергшим их миром. И вот его нет. Ах, Вальтер-Вальтер, милый братик-Вальтер: куда же ты пропал, что с тобой случилось, что случилось?

Бесконечно долгими и пустыми были ночи в норе, бесцветно и обреченно ползли в сторону зимы медленные дни этой новой, отверженной жизни. Собирая по степи и стаскивая к землянке вязанки чахлого травяного топлива; поддерживая ночью огонь в «пурчунке» – железной печке-«буржуйке», сварганенной Аугустом из железной бочки, найденной им в овражке недалеко от железнодорожных путей и приспособленной для прогрева их сырой норы; лежа под ватным одеялом, стараясь заснуть, или глядя с высоты холма вдаль, Аугуст все время пытался осмыслить произошедшее с ними – с ним лично и с его народом.

С народом, двести лет назад приехавшим на повозках в Россию по зову царицы Екатерины: заселять пустующие земли, чтобы стать щитом между европейской Россией и кочевыми бандами, которые орудовали в те времена в оренбургских степях, и даже с правого берега Волги ухитрились уводить скот, детей и женщин. Долгие месяцы двигались обозы по лоскутной Европе на восток. Кто-то повернул на Кавказ: там тоже было от кого прикрывать грудью российскую империю; кто-то осел в Крыму, на месте недавно изгнанных турок, а также на землях Ставрополя. Предки Бауэров – дед прадеда и родня по материнской линии – прибывали в разное время, с разными обозами, и заселяли пустынные берега саратовского Поволжья. Когда все тут было уже занято и земли разобраны и распаханы, новые поселенцы, которые все ехали и ехали, двинулись в глубинку, и так постепенно состоялся немецкий край – немецкая колония. Это была богатая колония в сравнении с окружающим русским крепостным крестьянством. Немцы были свободными поселенцами, они не знали крепостного права. У них был только один повелитель – труд, и они были охвачены единой эпидемией трудолюбия. На двадцать лет с момента прибытия они освобождались от всех и всяческих налогов, и за это время прочно становились на ноги. Они писали в тесную, наштапованную пограничными

столбами Германию, которая и Германией-то тогда еще не называлась, оставшимся родственникам, мечущимся среди княжеских разборок и чужих полей, о вольной и сытной жизни, о плодородных землях, которых «бери – не хочу», об отсутствии налогов, и в результате к земле обетованной, в благословенную Россию устремлялись все новые и новые колонисты, так что скоро немецкое Поволжье превратилось в богатейшую сельскохозяйственную житницу России, а сами немцы стали неотъемлемой частью российского народа. Где-то в семидесятые годы девятнадцатого века немцев уже начали призывать в русскую армию, и они служили так же старательно и аккуратно, как и работали. Из армии они возвращались в Поволжье с русским языком и чувством ответственности за великую Российскую империю, которое завещали и детям своим.

Революцию немцы Поволжья восприняли спокойно, без истерики, но с опаской. Их бы вполне устраивала и дальше власть российских царей: это была лучшая власть, которая выпала их народу за века. Пропагандисты увещевали: «Радуйтесь, немцы! Ведь наступает власть народа, власть крестьян! Для немецких крестьян это особенная честь, потому что Карл Маркс и Роза Люксембург были наши, немецкие революционеры, и нам всем этот факт зачтется». – «Ну и что? – сомневались скептики, – урожай от этого удвоится, что ли, или по четыре теленка у каждой коровы родятся от этого вашего Карла Маркса?». Но тут по сомневающимся скептикам сокрушительный удар нанес вождь мирового пролетариата Владимир Ильич Ленин: поволжские немецкие колонии были объявлены Автономной Республикой немцев Поволжья. Со столицей в городе Энгельс! С собственным правительством! С немецкими школами, институтами, заводами, фабриками. И музеями, и театрами, и дворцами культуры – своей, немецко-поволжской культуры, с ее диалектом и ее историей. Скептики заткнулись и с осторожностью приняли Советскую власть в свои сомневающиеся сердца.

Самые умные, однако, все равно сомневались: «Это сейчас мы, немцы, любимцы интернационалистов, потому что революция пришла к нам из Германии. Но когда-нибудь об этом забудут, и что тогда? А если мировая революция не состоится? А если с Германией следующая война случится? Что тогда будет с нами, с немцами?». Как в воду смотрели они, умные. Для начала, вслед за гражданской войной разразился страшный голод – знаменитый голод в Поволжье: это в богатейшем-то Поволжье – сельскохозяйственной житнице России! Большевики забрали и съели все, включая семена и племенной скот, и закрома опустели, и поля умерли, и лебеда, запеченная со жмыхом, стала невиданным лакомством, заменившим и хлеб, и все остальное съедобное. Церкви ударили-было в набат, но их тут же и заткнули: колокола сорвали, священников изгнали или расстреляли в подвалах ГПУ. Бог в ужасе зажмурил глаза и зажал уши, чтобы не слышать мольб и воплей протягивающих к Нему руки. Пассивность Бога обошлась поволжскому народу дорого: на степь обрушилась засуха, и голод стал еще ужасней; люди пухли и мерли от голода в своих домах, и на улицах, привалившись к заборам, и в бесплодных полях, из которых исчезли даже суслики, кроты и черви. А ведь суслики были последней надеждой: все остальное уже было съедено. Август этого не помнил – ему было тогда всего-то три годика, но мать рассказывала после, как отец, еще не оправившийся от контузии, уходил, шатаясь, в поля, чтобы поймать хоть одного суслика. В детстве отец был знаменитым суслиководом: его научила этому бабушка. В те времена хлеба стояли богатые, и пирующих сусликов было в избытке. Их было столько, что они наносили ощутимый вред хозяйству, и их полагалось уничтожать. Даже разрядка была: на каждые десять «земельных» душ – тридцать сусликов. За недобор – штраф одна копейка за тушку; за каждого лишнего – копейка премии. Отец весной, в мае зарабатывал до рубля на сусликах. Это были огромные деньги по тем временам. Но теперь, во время голода в Поволжье даже отец возвращался пустым, напрасно потратив силы. Многие кинулись спасаться на юг: в Крым и среднюю Азию. Уехали, чтобы спастись от голодной смерти и трое братьев отца: с семьями и скарбом; уехали и больше не вернулись. От голодной смерти они почти уже спаслись, но в пути их настигла другая беда:

тиф. На станции Джанкой перед самым Крымом их всех сняли с поезда; а уже на следующую ночь все восемнадцать душ, включая малых детей, отправились с отчетом о прожитой жизни к Создателю. Всю большую семью и еще человек тридцать посторонних покойников закопали в одной братской яме, пересыпав хлоркой. Над ямой не оставили даже опознавательного столбика: некому было возиться. Это было первым приветом Советской власти своему трудовому народу. Из этого очередного испытания выживший народ вышел, как утверждала официальная идеология, еще более закаленным.

В частности, выжили Карл Бауэр и его семья. Закалились ли они голодом – сказать трудно. Но они как-то выжили: перележали, переползали. Аугуст о том ужасном времени ничего не помнил, за исключением птички, которую ловили во дворе; она была с поломанным крылом, и никак не могла взлететь: поэтому ее поймали; Аугуст помнил, как все радовались, когда кто-то держал ее в руке. И еще он помнил, как страшно свисала у птички головка: птичка была мертвая, а Аугуст обязательно хотел, чтобы она летала дальше, и плакал. А все смеялись вокруг и называли его дурачком. Из птички сварили суп. Этот спасительный суп ел, наверное, и маленький Аугуст, раз он остался жив. Но супа из птички он уже не помнил: только саму птичку. Про суп из птички, которая спасла всем жизнь, ему много позже расскажет мать, вспоминая те кошмарные дни.

Голод миновал, уполовинив село, и пришли времена облегчения: опять появились коровки, и в полях все росло как прежде. По домам ходили, правда, комиссары с тетрадками, но семян все равно хватало, чтобы засадить поля заново, и после сдачи мяса и яиц, продуктов хватало на раз в день поесть самим. Пропагандисты торжествовали: ну, видали? Кто был прав? Рай постепенно наступает-таки, или опять кто-нибудь вздумает возражать? Но скептики и умные стали теперь гораздо осторожнее, и возражать не собирались; они просто слегка качали головами и в глазах их читалось: «Поглядим – увидим; погодить надо: еще дождемся...».

Погодили, и дождались коллективизации. И сопутствующего этому процессу раскулачивания. Что ж: коллективизация – так коллективизация. Дисциплинированные, законопослушные, организованные, обязательные немцы в тридцатом году осуществили у себя в Поволжье сплошную коллективизацию первыми в стране – по всем кантонам, без бунтов и восстаний, строго по инструкциям представителей Партии в кожаных и с наганами. Немцам коллективизация не нравилась, конечно, как и всем нормальным крестьянствующим людям, но им сказали «надо», и они послушно выполнили установку властей: немцы привыкли верить властям. И когда им объявили, что среди них есть кулаки, то они стали удивленно озираться и искать признаки этих самых зловредных кулаков, разглядывая прежде всего свои собственные натруженные руки, которые, даже сжатые в кулак, ничего особенно враждебного собой не представляли, да и были все более или менее одинаковые: который настоящий "Kulak", а который не настоящий – и не разберешь. Но им сказали: не беспокойтесь, дорогие немецкие товарищи. Партия сама укажет вам, которые из вас кулаки. И немцы успокоились, не веря, что партия сможет когда-нибудь разобраться в столь сложном вопросе. И действительно, трудность состояла в том, что для списка кулаков в немецкой республике годился при необходимости любой крестьянин, потому что у каждого было – до голодомора, во всяком случае – по несколько коров, да маслобойка, да веялка, да царские червонцы про черный день. Однако, задавали себе резонный вопрос немцы: выслать на стройки социализма всех поголовно – кто же будет тогда страну кормить? Ведь немецкое Поволжье все еще оставалось главным продовольственным арсеналом государства. Так кого назначить кулаком? Нерешаемая задача. Но наивные немцы тогда еще не в полной мере осознавали, что для коммунистической партии нерешаемых задач не бывает. Партия решила и эту. Власть Поволжья, в составе которой было много коммунистов-немцев, подошла к проблеме с умом: в первую очередь в кулаки записали не

самых имущих, а самых говорливых, которые каркали; следом уже – селян побогаче, имевших много завистников вокруг. Пропагандисты доказывали: «Смотрите, товарищи, насколько все справедливо складывается: Советская власть помогает нам, немцам, очиститься от болтунов и толстосумов, из-за которых нам всем непосильные продналоги нахлобучивают. А теперь вон как всё здорово получилось: забрали богатеев наших вместе с их продуктами, продукты в план продналога вписали – вот и выполнил наш кантон одним махом план госзаготовок на целый квартал вперед. И государству хорошо, и нам сразу легче дышать стало!». И все изображали улыбку, прикидывали, кому быть следующим «богатеем» на очереди, и торопились спрятать от посторонних глаз последние признаки процветания: швейные машинки, ручные сепараторы и даже латунные тазы для варенья. Залман Линкер, например, закопал в саду часы с кукушкой. Изготовленные при царизме, они куковали о старом времени, и советская власть могла к этому безжалостно придраться.

Если в былые времена бедняки имели привычку сидеть на лавочке перед своими домами и ковырять палочкой в зубах, делая вид, что они только что ели мясо, то теперь безопасней стало ходить слегка оборванным и жаловаться на хроническое недоедание. Из месяца в месяц эти жалобы становились все искренней и честней, однако «богатеи» в «кулацких списках» плодились тем не менее по нарастающей. Раскулачивали под занавес всей этой кампании уже всех подряд, так что к тридцать второму году – началу следующего страшного голодомора в стране – кулаков в Поволжье больше не оставалось. Разве что совсем уже экзотических кулаков, прикидывающихся голодными, отлавливали по углам, чтобы оправдать существование недремлющих органов. Так, одного из таких хронически недоедающих немцев, Зайберта Вальдемара раскулачили за новые сапоги на ногах, а его двоюродного брата – Зайберта Клауса – через пару месяцев арестовали уже за старые сапоги: просто за то, что была их у него на ногах комплектная пара, в отличие, например, от одноногого инвалида мировой войны Кайзера Вильгельма, имевшего лишь один сапог, или от тех же пролетариев братской Монголии, с трудом вышедших недавно из-под тысячелетнего гнета феодализма и не имеющих в результате вообще во что обуться. Так что по окончании строгого следствия по «сапожному делу», с сопутствующими допросами и мордобитием, потопали оба брата в сторону восходящего солнца – туда где руду добывают – в четыре босые ноги. А вслед за ними шкандыбал на костылях и одноногий Кайзер: за то, что на портрет царя Николая помолился, когда к нему пришли с проверкой его материального положения. Потом уже разобрались, что то был не царь-кровопийца вовсе, а портрет родного дедушки Кайзера в унтер-офицерской форме. Но не возвращать же инвалида с этапа, когда он уже триста пятьдесят миль отшагал с таким трудом. Из соображений гуманности развернули тогда старого Кайзера с восточного направления на северное (туда маршрут короче по карте), и пошагал Вильгельм Кайзер уже к Белому морю. Там его одноногий след оборвался навсегда...

Аугуст время от времени поднимался с ковыльной лежанки, чтобы подложить в бочку сухой травы: уж больно быстро она выгорала. Когда выгорит вся – что тогда? Степь уже накрыло снегом, и там, снаружи, гуляли метели в обнимку с морозами. Было безысходно пусто на сердце, и мысль о том, что всего лишь два месяца тому назад еще была жизнь, была родина, и все были живы, казалась сказочной, совершенно неправдоподобной. Да, конечно: все это было когда-то, но тысячу лет назад, наверное, и с кем-то другим, не с ними...

Но упрямая память все подсовывала картины из прошлого – сказочные или реальные – какая разница? И с этими картинами в сердце Аугуст засыпал, уходя в них далеко-далеко и не желая возвращаться...

Но являлись и другие картины, от которых хотелось бежать, но убежать было невозможно; чтобы отделаться от них хотя бы на время, их следовало просто пережить заново: это Аугуст уже знал на горьком опыте долгих бессонных ночей.

Так например, приходили воспоминания о начале войны: то объявление по радио, общий ужас, общая растерянность – как предчувствие конца. Потом эта жуткая, могучая, гипнотизирующая песня: «Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой!..», от которой кровь останавливалась в теле. Что могло быть страшней этого? Оказалось: могло быть еще страшней! Тогда, в конце августа...

* * *

Как все это было? Кончалось лето. Уже всюду шла война, и всем немцам в Поволжье было страшно и тревожно. Так же тревожно, как всем советским людям, но и еще немного больше. Потому что в соседних русских селах уже с конца июня шла тотальная мобилизация, а в немецких – нет, хотя в немреспублике воинская обязанность была общесоветской, такой же как везде. А тут вдруг – тишина. Это было непонятно, это пугало. «Война с фашистской Германией? Ну и что? А мы-то тут при чем? Мы же не виноваты, что мы тоже немецкий язык знаем. Как раз наоборот: мы больше других можем пользы принести на фронте: переводчиками, пропагандистами, агитаторами», – рассуждали немцы по вечерам. Знающие люди сообщали, что более шестидесяти тысяч поволжских немцев из числа призванных в армию до войны уже всюду воюют. Уже есть орденосцы. Но добровольцы продолжали возвращаться с призывных пунктов с тревожной вестью: «Немцев не берут!». Почему не берут? Им на этот вопрос никто ответить не мог. И все понимали: что-то не так: что-то где-то происходит грозное и опасное. Прошел слух, что органы НКВД выявили шпионскую группу на территории немецкой автономии, состоящую из местных, немецких фашистов. «Откуда могли тут взяться фашисты? – недоумевали жители, – когда мы все друг друга знаем...». Но слухи такого рода ползли, и крепили, и расцветали диковинными подробностями. Однажды все собрались вечером в клубе – сами собрались, спонтанно, без приглашения, без повестки дня: люди просто хотели пообщаться, поговорить, обсудить пугающую ситуацию, обменяться мыслями и тревогами, возможно, найти сообща какие-то объяснения происходящему. Пришел и председатель – как же без него решать проблемы, если он главный мозг колхоза? Киндер долго слушал людской встревоженный базар, а потом сказал: «Нас не трогают и не призывают, потому что на нас возложена в связи с войной особенно ответственная миссия: кормить фронт, кормить страну. Гитлеровцы идут с запада и разоряют земли, уголья Украины и Белоруссии. Кому страну кормить? Только нам! Государству отлично известно, как хорошо мы трудимся, какие высокие показатели в заготовке сельхозпродуктов всегда демонстрировали – практически независимо от погоды; вот поэтому государство и возлагает на нашу немреспублику основную надежду в деле снабжения армии продовольствием. И мы не подведем!». Ах, как все сразу просто и понятно объяснилось! Какой же умница все-таки этот наш Вилли Киндер, какая голова! «И еще одна причина есть», – добавил умница-председатель, – зачем, спрашивается, лучших крестьян отрывать от производства, если Красная армия еще до Нового года перейдет в контрнаступление и разгромит гитлеровцев? Для этого в Сибири уже готовится колоссальный ударный потенциал с новейшим оружием. Мы, крестьяне, бауэры, пока просто не нужны армии – что же: путаться у них под ногами и мешать только? У нас – посмотрите какие урожаи поспевают этим летом. Все собрать до последнего зернышка, до последнего клубенька – вот наша святая задача!». – «Ах, молодец, Киндер!», – радовались колхозники, – «Но почему все это держится в такой тайне?» – «Чтобы фашисты не догадались и не ударили десантом с востока, не пожгли и наших полей заодно!», – догадался кто-то, развивая вширь и вглубь спасительную теорию мудрого председателя Вильгельма Киндера.

С каким же воодушевлением все расходились по домам в тот вечер! Красная Армия скоро разобьет врага! Соберем весь урожай до последнего зернышка! Ах, какой же молодец наш Вилли!

И вот двадцать девятого августа, когда все были в поле, Киндер примчался на взмыленном Зеппе (никто и не подозревал, что старый Зепп все еще умеет так скакать), и никак не мог урезонить коня, и сам не мог некоторое время проговорить ни слова, хрипя и задыхаясь вместе с Зеппом. По растрепанному виду председателя все поняли, что случилась какая-то большая беда. И Киндер лишь добавил всем страха, проговорив, наконец: "eine schreckliche Nachricht, Genossen: eine Katastrophe ist geschehen!" («Ужасная новость, товарищи: произошла катастрофа»), – и закрыл лицо руками. Кто-то из женщин начал плакать, еще не зная в чем дело.

– Они взяли Москву? – ахнул кто-то в отчаянии. Но Вильгельм замотал головой, и наступила страшная тишина: если фашисты не взяли Москву, то что может быть еще ужасней? Сталина убили?

Оказалось еще страшней. Оказалось так страшно, что даже не все это осознали сначала, когда Вильгельм все-таки справился со своим волнением и проговорил заплетающимся голосом:

– Нас, немцев Поволжья, объявили врагами. Официально. Вышел Указ об этом. Республика будет ликвидирована. Нас выселяют в Сибирь, в Казахстан, в Среднюю Азию..

– Кого это – нас? – спросил кто-то, не веря своим ушам.

– Нас всех. Весь народ. Всех до одного. Кто за русскими мужьями, или у кого в семье русские жены – могут остаться. Остальные – все.

Колхозники не верили. Что-то этот Вильгельм перепутал, что-то не так понял. Газета-то с Указом на русском языке. Вильгельм Киндер хоть и знал русский, но не настолько хорошо: мог пропустить в Указе что-то главное.

– Вильгельм, не городи чушь! – возразила Альма Кугель, бригадир полеводческой бригады, – как можно выселить целый народ? А дома, а скот, а колхоз? Кто работать будет, кто будет армию кормить? Ведь мы...

Но Киндер махнул на нее рукой, перебил:

– Бросайте работу, оставьте все эти помидоры лежать: не до них теперь. Идите домой, собирайтесь. У меня только что был комиссар из НКВД: нам даются сорок восемь часов на сборы. Каждый может взять с собой вещей не больше одной тонны, продовольствием нужно запастись на дорогу не менее чем на месяц. Все, расходитесь по домам... Всему конец: расходитесь, – седые волосы Вильгельма Киндера облепляли горящую на полуденном солнце розовую лысину, и был он похож в тот миг на бога Саваофа из детской книжки, который обнаружил вдруг, что все пропало: ни с твердью земной, ни с синим небом, ни с глупыми людьми ничего не получилось! И стало впервые видно колхозникам, что лицо у их строгого, авторитетного Вильгельма старое и серое, а губы – синие, как будто он принял яд из чернилницы, и сам он – разбитый, растерянный старый человек.

Август не послушался и не бросил помидоры: машина, с которой он прибыл, чтобы забрать собранный урожай, была почти уже доверху заставлена ящиками. И что за помидоры это были! На редкость: гладкие как шелк, сладкие как сахар и толстые, как монгольские борцы. Ну как было их бросить таких? И Август дал по газам и покатил назад в село вместе с ценным грузом своим.

– Поставь машину на площади перед правлением, – успел крикнуть ему председатель вслед: пусть все берут на дорогу, если захотят...

Лишь в этот миг упало сердце у Августа, как оборвалось: в этот миг до сознания его дошел смысл объявления Киндера. «Враги!.. Мы – враги! Но как такое возможно? Этого не может быть! Где-то произошла чудовищная ошибка! Она скоро прояснится...». Но даже восприняв страшную правду, весь ужас ее долго еще оставался за пределами понимания: этот яд проникал в мозг медленно, как гангрена, и от него цепенело тело.

Может быть даже и хорошо, что постижение этой ужасной правды происходило медленно, ибо пережить ее разом было бы вне человеческих возможностей: каждый из тех, кого она коснулась своим черным, ледяным крылом, умер бы на месте, если бы мог представить себе в этот миг свою жизнь и жизнь своих детей на два десятилетия вперед.

Как-то, в двадцатые годы в село привозили фильм про монголо-татар. Фильм был на русском языке, большинство ничего не понимало; некоторые селяне полагали, что фильм документальный, сильно всполошились и побежали выяснять у кинооператора, в каком конкретно районе и на какое немецкое село совершили нападение татары. Их интересовало, далеко ли то место от их Елшанки, и пришлют ли сюда красную армию для охраны села, или нужно будет самим как-то обороняться. Потому что сто, и сто пятьдесят лет назад оборонялись главным образом сами. Русский кинооператор и сам не всегда знал, про какие места он чего крутит; он крутил все подряд, и ему было все равно – про «Ленина в Октябре» кино, или про монголо-татар в Казани. Да и по-немецки он знал только два слова: «Алес капут!». Их и повторял. И немцы побежали из клуба, чтобы баррикадировать окна в домах, прятать ценности и даже резать скот. На следующий день, когда все прояснилось – держались со смеху за животы и показывали друг на друга пальцами. Что за милая, наивная паника то была в воспоминаниях тех, кто это помнил!

Ну почему, почему не могло и в этот раз все обернуться наутро недоразумением или объясниться ошибкой? Но нет, не было ошибки, и в тот вечер, и всю ночь, и наутро, и весь следующий день крики людей и животных, плач, стоны, мольбы и проклятья метались по селу, от дома к дому, по всем улицам и дворам.

Визжали свиньи, рассчитывавшие еще пожить до октябрьских праздников; лаяли на свои будки и просто так в пространство совершенно сбитые с толку собаки, не понимающие что стряслось и от кого защищать дворы и хозяев в этом непонятном хаосе; коровье мычанье висело над селом протяжной мольбой, и такой же гул доносился из соседних сел. И беготня, беготня, беготня вокруг.

Беготня и плач. Беготня с отчаянными вопросами, обращенными к синему небу и друг к другу: вопросами, не имеющими ответов. Никто ничего толком не знал. Куда поедет? На чем? На повозках? На своих? На армейских? Куда их потом? Коням корм брать? Дрова брать? Ехать семьями или дворами?

Уполномоченные сами ни черта не знали. Они орали в ответ и матерились. Они ходили из дома в дом, делали записи и выдавали Kwitanzen: квитанции за оставляемые постройки, зерно, фураж и скот. «На основании этих квитанций вы можете претендовать на соответствующую компенсацию по прибытии на место назначения», – втемняивали они ничего не сообщающим немцам. Немцы задавали в ответ идиотские вопросы: «На какое место назначение поедет? А что там – другую корову дадут? А какую? – эта-то хорошая! Нам плохую не надо!»...

«Пошли к дьяволу!», – кричали представители НКВД, которым на удои коров было наплевать, которые головой отвечали только за одно: за сроки депортации. До конца сентября в Поволжье не должно было оставаться никаких немцев.

Квитанции второпях выдали не всем, иные их потеряли в суматохе, иные же хранили потом до конца жизни, чтобы либо поплакать над ними когда-нибудь, либо посмеяться – смотря по настроению и состоянию здоровья. «Колхозом, всем колхозом будут вывозить», – заверял людей Вильгельм Киндер, и хотя бы уже одно это было хорошей новостью в разверзшейся бездне несчастья: вместе выживать все же легче: это понимал каждый.

Последние сутки перед отправкой вообще не спали: все собирались в дальнюю, неизвестную дорогу, плакали над каждой оставляемой вещью, доставшейся еще от прадедов. Мудрость,

встроенная в гены, учила быстро: брали крупы, топили шмалыц, солили мясо, коптили кур и гусей. Мыло, спички, керосин, одеяла – это обязательно. Теплая одежда, обувь – тоже. Дальше – по привязанностям: любимая шифоньерка, фаянсовые слоники на счастье, белая фата из сундука, сам сундук с резьбой, щенок с перебитой лапкой, портреты предков, документы – наградные грамоты, свидетельства, справки, выписки, удостоверения; отец Карл, например, упаковал с документами свое сокровище: унаследованную от деда газету с манифестом царицы Екатерины II от 1763 года: "О дозволении всем иностранцам, в Россию выезжающим, поселяться, в которых губерниях они пожелают, и дарованных им правах".

Тонна набиралась очень быстро. Глупые люди задавали osobистам тупые вопросы типа: «А вес телеги входит в тонну? Ответ был всегда один: «Пошли к черту!». Как нетрудно было догадаться – туда они и отправлялись, причем под личным управлением самого главного черта, того самого: Усатого.

– Надолго уезжаем? – это был еще один из глупых вопросов, задаваемых депортируемым друг другу. Варианты ответов были разные: «До конца войны»; «Никто не знает» и «Навсегда». На тех, кто говорил «навсегда» махали руками, как на чумных, и кричали, что это ерунда, что скоро фашистов разобьют, и историческая справедливость будет восстановлена: можно будет в спокойной обстановке разобраться, и при этом обязательно выяснится, что немцы Поволжья никогда не были предателями Родины. И тогда республика будет восстановлена и наступит новая, счастливая жизнь. Но пессимистически настроенные реалисты с безумными глазами каркали свое: «Навсегда, навсегда, навсегда...». Говорят, одного такого нашли застреленным, уже на станции...

Через двое суток, на рассвете обоз двинулся в путь: к Волге, на железнодорожную станцию. Скот, избежавший ножа, был отпущен на волю. Скот про волю ничего не понимал и тоскливо смотрел вслед удаляющемуся обозу. Собаки трусили рядом, разрываемые сомнением: сопровождать хозяев дальше, или вернуться и охранять дома? Наиболее глупые трусили рядом до самого города, жалобно посматривая на своих хозяев, чувствуя их великое горе и не понимая его. Самые умные садились у дороги и долго выли, а потом поворачивали обратно: хозяева исчезли, да, но дом-то еще стоит! Кто-то же должен охранять дом!..

Очень страшно было проходить пустые села, вывезенные накануне. Всегда жутко смотреть на растерзанного мертвеца, но еще страшней видеть мертвое село: распахнутые ворота, пустые дворы, беспризорный мусор, играющий с ветром на улицах, безлюдье, безмолвие, в котором внезапный звук от хлопнувшей на ветру ставни заставляет вздрогнуть, как от злой шутки демона. И еще слезы наворачивались от вида беспризорных коров с раздутым выменем: они устремлялись навстречу обозу и отчаянно мычали. Их доили наскоро, прямо в пыль, или в ведра – у кого были наготове – и пускали ведра по рукам: пейте, пейте под завязку, люди добрые – когда еще доведется?...

Предсказание Киндера о том, что депортировать будут всем колхозом, не состоялось. Случилось иначе: колхозом ехали только до ближайшей станции; там комплектовали составы по принципу наполнения вагонов, и кто в какой состав и вагон попал, оказалось вопросом случая; соответственно, кого куда какой товарняк унес, останется для многих тайной навсегда, и об этом Аугуст горевал уже тогда, в поезде, в вагоне, куда его второпях затолкали вместе с теми, которые стояли рядом: слава Богу еще, что он попал со своими родными, а не с чужими семьями. В товарных вагонах-пульманах было темно и грязно, но мрак еще того беспросветней застыл в душах людей. Состав долго дергался и грохотал, формируясь, и наконец отправился, мотаясь на стрелках. Все подавлено молчали. И вдруг отчаянный голос в конце вагона крикнул: «Это ненадолго, товарищи! Есть сведения: Гитлера скоро разобьют, и мы вернемся». Судя по голосу, это был немецкий коммунист Фердинанд Балль из соседнего села, который затесался в их вагон случайно, отбитый от семьи в толчее погрузки (вскоре ему удастся добраться до

своих: к счастью, семья его ехала в том же составе и в ту же сторону; характерно, что перебраться к семье Баллю помог вовсе не партбилет, который у него тут же и отобрали, а копченый гусь, которого Фердинанд нес на себе, в вещевом мешке, и говорил, что это – на самый черный день. Получилось, что самый черный день настал для него уже в самом начале пути, потому что переселение к семье стоило ему драгоценного гуся. Фердинанд с гусем исчез, и больше Аугуст никогда в жизни про него не слышал). Этот Фердинанд хотя и ушел из их вагона, но успел зажечь своими речами слабый огонек надежды в сердцах несчастных людей: да, конечно – иначе и быть не может: советская армия должна разбить фашистов очень скоро, Сталин во всем разберется и накажет тех, кто сообщил ему провокационные сведения о предательстве поволжских немцев: «Ведь мы – совсем другие немцы, мы свои немцы, родные немцы, мы немцы, которые есть неотъемлемая часть российского народа!», – говорили немцы между собой, – конечно, это была чья-то подлая провокация, и мы скоро вернемся!».

Возможно, то был единственный случай, когда российские немцы испытывали благодарность к коммунисту, подарившему им светлячок надежды. Хотя бы ненадолго.

А набитые под завязку составы с людьми ползли и ползли из Поволжья, отправляясь с разных путей день и ночь, день и ночь, день и ночь. Много позже узнает Аугуст из книг и журналов: триста эшелонов по пятьдесят вагонов, по сорок «гитлеровских пособников» всех возрастов в каждом были отправлены на три стороны света в течение сентября из бывшей немреспублики Поволжья, упраздненной 7-го сентября 1941 года. К двадцать первому сентября республика немцев Поволжья была пуста. В буквальном смысле слова пуста. Республика-призрак. То есть – уже не республика больше. Просто – призрак. И Лаврентий Павлович Берия отчитался перед Хозяином о проделанной работе досрочно.

Через полвека Аугуст Бауэр – уже другой Аугуст Бауэр – будет из чисто исторического интереса собирать документы и анализировать произошедшее с российскими немцами, с их автономной советской республикой. Много интересного откроется ему. Например, очевидным станет «глубокий» замысел авторов депортации, намеревающихся убить сразу двух зайцев: по их идее, работающие немцы будут все так же бесплатно кормить страну из степей Казахстана, выворачиваясь при этом наизнанку, чтобы доказать, что они – не враги; и пусть только попробуют не вывернуться наизнанку! А их пустующие дома займут эвакуированные из Москвы и Ленинграда, которые придут на все готовое, так что государству не надо будет думать об их обустройстве; эвакуированные, таким образом, сами выживут под надежными крышами да при горячих печах, и хозяйству немецкому не дадут развалиться; а дальше – видно будет.

Но дальше все получилось не так: расселенный как попало по степям, лесам и пустыням, российские немцы просто прекратили свое существование как единый народ, и вместо того чтобы кормить страну, депортированные сами жили в голодных нахлебниках у тех, к кому их подселили: казахов, узбеков, таджиков и русских, вызывая в тех и сочувствие и ненависть одновременно. Эвакуированные же в поволжские степи горожане, ни бельмеса не соображающие в сельском хозяйстве, и последовавшие за ними волны халаявных вселенцев в чужие дома съели все, что еще можно было есть, спалили все, что еще годилось в печку, разбили все, что еще можно было разбить, так что через десяток лет ни одного признака не оставалось, по которому можно было бы опознать в этой некогда процветающей поволжской земле бывшую кормилицу России – немецкую поволжскую республику «русских немцев», или «поволжских немцев» – как они себя называли. Из гениальной идеи получился пшик, годящийся разве что для назидания потомкам. Но вот беда: потомки не любят назиданий и не читают их...

Много мыслей – умных и не очень – прошло через голову Аугуста Бауэра с тех пор. Удивительно, но факт: почти всегда ход мыслей делал разворот и упирался в Сталина – как и у всего остального советского народа, надо полагать, что и не было странным: Сталин затмевал

все, включая солнце, его было не обойти и не объехать. Великий Сталин лучше всех разбирался хоть в строении Вселенной, хоть в сортах кильки в море за мысом Канин нос...

Мысли те годились, разумеется, лишь для глубоко личного употребления: делиться ими с посторонними было смертельно опасно. Ибо в сознании Аугуста понятия «Сталин» и «преступление» были одного порядка. При этом Аугуст, как человек достаточно грамотный понимал, что объективно Сталин своими репрессиями, бросив в топку миллионы людей ради индустриализации и вооружения страны, спас советское государство от неминуемого пожирания ее фашистской Германией, за которой куда более хищной тенью уже тогда маячили Соединенные Штаты Америки: главный игрок предстоящего глобального передела мира. Однако, личная обида тех, кого заставили заплатить за это собственными жизнями и поломанными судьбами, да еще и заклеянных при этом убийственным штампом «предатель» и «враг народа» – ослепляющая, затмевающая разум обида и ненависть этих людей все равно оставалась выше, и глубже, и шире всех соображений объективности и исторической целесообразности. Сталин был и навсегда останется врагом российских немцев, и в той мере, в какой Сталин олицетворял собой страну, он делал и ее, страну, врагом немцев, которые в результате перестали воспринимать разницу между понятиями «государство» и «Отечество». Возможно, в этом и состояла главная трагедия российских немцев, в результате которой они утратили свой этнос, растворив его в другом, гораздо более мощном, родственном германском этносе. Россия потеряла в лице поволжских немцев эталон трудолюбия и самую законопослушную, всегда преданную властям и порядку часть своего народа.

Но тогда, лежа в сырой норе казахской степи, Аугуста терзали горькие мысли более примитивного, приземленного уровня: как пережить эту зиму? И что будет с ними дальше?

* * *

Еда у людей стала кончаться в середине ноября. В декабре начался голод. При этом мало у кого осталось и топливо. А зима только-только еще подступала, вся она была еще впереди. Закончился харч и у Петки с Клеппом, но кормить их было нечем, и отобрать что-нибудь съедобное у депортированных стало невозможно: у всех было либо совсем пусто, либо последние припасы прятались на теле. Несколько человек – Альфред Мюллер, два брата Ниренштайн и сумасшедшая Ида Гайзель дезертировали как-то рано утром в сторону Семипалатинска: в этих семьях закончилось все – хоть самих себя ешь. Больше они не вернулись. Позже казахи нашли три замороженных трупа, погрызенные волками. Куда девалась Ида – неизвестно. У кого-то из жителей нор появилась навязчивая идея сожрать Клеппа и Петку, как официальных представителей власти, которая обязана заботиться о своих подопечных до самого конца: вот, дескать, и пусть послужат до конца. Другим эта идея показалась привлекательной. Депортированные, таким образом, начали коллективно «сходить с катушек». Но ведь идеи – они как семечки от кактуса: лежат и ждут для себя условий...

Не дождавшись пуска своих охранников на корм, двое сельчан умерли от голода: заснули и не проснулись. В них полностью исчерпались все энергетические ресурсы. Депортированные закопали своих покойников поглубже в снег, не проявляя особых эмоций, на которые ни у кого уже не было сил. Лежа на холодных, непрогревающихся подстилках, норушники равнодушно спорили на тему, кто может стать следующим, и у кого больше шансов выжить в условиях голода: у детей или у взрослых. Однако, следующим стал пятнадцатилетний Курт Кляйнерт, и спор об оптимальном возрасте для смерти остался открытым. Курта зарыли в снег рядом с двумя позавчерашними (или вчерашними?). Общее число жертв депортации из высаженного в степь вагона возросло, таким образом, включая сюда отца Аугуста – Карла Бауэра и умерших ранее, в первые дни, бабушку и ребенка – до десяти душ, плюс без вести пропавший по дороге

Вальтер: итого одиннадцать человек. Двадцать пять процентов, сказал бы председатель колхоза Вилли Киндер, если бы был сейчас с ними.

Неожиданным образом мертвецы выручили живых. Однажды ночью Клепп услышал возню и визг снаружи, выполз из своей «штабной» норы, и увидел под яркой луной как волки раскапывают мертвецов. Он открыл стрельбу, Петка присоединился к нему вторым стволом, и воинам удалось завалить двух тощих волков. Их тут же начали свежевать и жарить, и к утру уже съели и обсосали кости. Невероятно, но факт: охранники безропотно делились с врагами народа добытым мясом; то ли рабоче-крестьянская солидарность с «голодными и вшивыми» в них шевельнулась, то ли заподозрили они, что следующими после волков быть им самим. Охранники отлично видели, что у них в подотчете состоят еще тридцать душ, потерявших образ и подобие советского человека до такой степени, что перестали уважать винтовку и клацающий затвор; мало того: их не пугали больше даже такие магические слова как «энкавэдэ» или «расстрел»...

На следующий день Клепп и Петка исчезли. Утром выползли из нор, а охраны нет, штабная нора пуста, и две пары следов ведут к горизонту. Жители нор решили: сбежали, сволочи. Но норяне ошиблись: просто под влиянием крайних лишений они утратили к тому времени доверие к советской власти. Они забыли, что советская власть никогда не оставляет своих людей в беде. Впоследствии многим немцам было стыдно за свое неверие, потому что охранники, оказывается, отправились за подмогой.

Доблестные воины НКВД на самом деле вовсе не бросили свой поднадзорный, подземный народ на произвол судьбы, но проспорив между собою долго и яростно на тему, кому идти за помощью, порешили в конце концов идти вместе, опасаясь свирепой мести волков. И они ушли, и дошли до города, и даже вернулись через две недели с продуктами питания, но только никого уже не застали в норах. Ни-ко-го! Даже трупов не было под снегом! Только слегка придавленный широким полозом волокуши и припорошенный снегом тракторный след вел сквозь сугробы вдоль железной дороги на юг. Клепп и Петка пошли по этому следу и через день, уже к вечеру обмороженный Клепп притащил на себе полуживого Петку в казахское селение Сыкбулак. Тут тракторный след обрывался. Двадцать шесть штук уцелевших немцев были здесь, в селе, кое-как рассованные по частным домам. Теперь наступил черед спасать уже обмороженных Петку с Клеппом.

В полной темноте два пожилых казаха разложили петарды на рельсах, и товарняк, летящий в полночь со стороны Семипалатинска, матерясь на шесть голосов – трех солдат сопровождения, машиниста и двух кочегаров – остановился, осыпая степь злыми зелеными искрами из-под колес, и красными – из перегретой топки. Клеппа и Петку сунули в ближайший вагон-теплушку, в котором ехали в бессрочную ссылку несколько отчаянных бессарабских румын, черными пантерами мечущихся от стены к стене пульмана. За короткий путь до станции Чарск они не успели разглядеть в потемках, кого это к ним подложили, и благодаря этому обстоятельству героические бойцы НКВД Клепп и Петка добрались до больницы живыми. Там, по слухам, Петке отрезали обе ноги по колено, и он получил медаль за храбрость. А коммунист Клепп получил даже целый орден за то, что спас Петку. Оба они навсегда выпали из жизни Аугуста. Каждый из них двинулся дальше по собственной спирали судьбы в сторону неизбежного конца, и наверняка давно уже добрались до цели...

Депортированные отогрелись и отошли от смерти в селе Сыкбулак, но содержать их здесь на халяву никто не собирался. Местная власть забила тревогу, и вот прямо из белого неба возникли в селе энкавэдэшники в твердых погонах, сделали опись и подробно допросили каждого из спасенных, включая повзрослевшего на полжизни четырехлетнего Якоба, отвечавшего, правда, на все вопросы офицеров только одним, совершенно непонятным криком: «Sükki pilat!». Офицеры, в конце концов махнули рукой и оставили малыша в покое: все равно ни

один из них, кроме «Гитлер капут» ни бельмеса не петрил по-немецки. Самодельные переводчики тоже неуверенно пожимали плечами: диалект, наверно... И всем было невдомек, что маленький Якоб просто начал уже понемножку осваивать русский язык из наиболее употребимого вокруг репертуара.

Лишь под Новый, 1942 год, в канун перехода Красной армии в решительное контрнаступление под Москвой, потерявшихся в степи депортированных немцев из «лишнего вагона» расселили, наконец, более или менее в соответствии с первоначальным гениальным замыслом Великого Вождя: по разрядке, с подселением в семьи, еще осенью предупрежденные о предстоящем уплотнении врагами народа.

Тот факт, что поделят именно врагов народа, никого из уплотняемых хозяев особо не волновал. Подумаешь – враги! Это категория текучая-летучая, как настроение властей: сегодня враг ты, а завтра – я. Или наоборот. Хозяев больше интересовало, что все эти враги жрать будут. Кормить их никто не собирался. Именно эта проблема составляла центр всех психологических напряжений. Разумеется, открыто разрядкам никто не сопротивлялся; протесты могли запросто закончиться себе дороже: враги народа были у властей в большом спросе в те времена, ибо на лесоповалах, рудниках и шахтах отчаянно требовались рабочие руки: запасы людских ресурсов тридцать первого – тридцать седьмого годов давно истощились. Так что протест состоял лишь в том, что приезжих встречали хмуро, без цветов. А в циркуляре о переселенцах и не было прописано, что их требуется привечать хлебом-солью и с оркестром. Но бывали и положительные исключения, а именно там, где депортированные прибывали на место назначения строго по графику. Изгнанники привозили с собой продукты питания, и зачастую хозяева жилищ, к которым власти определяли на постой врагов народа, проникались теплыми чувствами к своим постояльцам не за их несчастную судьбу отверженных и гонимых, но исключительно за запахи, исходящие от их кастрюль в первое время после прибытия, уловив трепетными ноздрями давно забытые, добрые запахи пшенной каши на топленом салце. Это чудо природы – топленое сало – немцы называли своим, волшебным словом «шмальц». О, эти бездомные, бесправные немцы – они понимали толк во вкусных словах; и «шмальц» было одним из таких неземных слов – нежным, ласковым, сыто шкворчащим на сковородке, шепчущим-нашептывающим о сказочной, счастливой жизни в сказочной, счастливой стране...

С пассажирами «лишнего вагона» все обошлось более или менее благополучно. Коров переселенцам и прочих компенсаций на основании их «Kwitanzен», конечно же, никто выдавать не собирался, но к удовольствию депортированных кое-как приставили: все они были закреплены за колхозами, артелями и предприятиями, ходили на работу и зарабатывали кто деньги, а кто и «палочки», по которым кладовщики выдавали потом муку, постное масло, крупу, или еще чего-нибудь, например табак или пустые дубовые бочонки, которые можно было обменять на что-нибудь съедобное. Получателям денег было хуже: деньги еще требовалось ухитриться обменять на продукты питания, а кому они нужны – несъедобные те бумажки? Поисками еды были озабочены все: это была главная проблема жизни. И все радовались, когда удавалось чего-нибудь погрызть. Как радовался, например, маленький Якоб, когда грыз ствол от яблоньки, заметив на нем следы от заячьих зубов и вполне доверяя заячьему вкусу. Вот только заяц благополучно убежал в степь, а Якоб был отловлен хозяином и больно бит.

С фактом уплотнения хозяева, таким образом, еще кое-как мирились – благодаря продовольственным пайкам переселенцев. Худо было депортированным, если в дом приходила похоронка. Тогда, под поминальную самогонку вспоминалось вдруг иногда несчастным хозяевам, что за стенкой, или за занавеской у них живут «оккупанты». Для многих депортированных то были трудные дни – с риском для жизни. Так например, Фритца Гаттлера, рассказывали очевидцы, две женщины под горячую руку вообще закололи навозными вилами только

за имя его и фамилию. С Гаттлером лично Аугуст знаком не был: его родню, жившую за три деревни от Елшанки, знала мать Аугуста. С этой родней Аугуст познакомился на похоронах, потому что его позвали долбить могилу для Фритца: казахи копать могилу для врага народа на всякий случай отказались – «чтобы не прописали нам политические последствия», – как они объяснили.

Впрочем, такого рода трагедии происходили редко. Слава Богу, похоронки в эти широты залетали не часто: казахов призывали на фронт относительно мало; у них у всех подряд обнаруживалось плоскостопие, это раз, и в пехоту они поэтому не годились; времена же Буденного были позади, да и хлестать казахи умели не так шашкой, как кнутом, а Гитлер кнута не боялся: Гитлер боялся «Катюш», прожекторов и танков «Т-34» – всего того, чем казахи не владели: все-таки они выросли чуть-чуть в стороне от столбовых дорог цивилизации. Это было два. Поэтому пособничество гитлеровским захватчикам казахи припоминали немецким переселенцам относительно редко. Тем более, что немцы, верные своим аккуратным генам, традициям и воспитанию, не успев оклематься от голодных обмороков, сразу же хватались за работу – любую: копать, пилить, таскать, грузить, пахать, молотить, ремонтировать, строить и так далее. Причем делали все это хорошо. Русское национальное понятие «тяп-ляп» они усваивали с большим трудом. К тому же все немецкие женщины умели шить, вышивать всякое там «мулине»-«ришелье», вязать крючком, спицами, челноком; плести брюссельские скатерти и прясть, а также вязать толстые, теплые носки из собачьей, верблюжьей и козьей шерсти. Все это доставалось – большей частью в уплату за кров и в порядке компенсации за тесноту – хозяевам. Впрочем, на тесноту жаловаться должны были, скорей, коровы, кони и свиньи, у которых под теплым бочком спали многие переселенцы. Хотя, возможно, скот от этого немецкого подселения только выиграл: он был теперь всегда до блеска вычищен и ухожен. Некоторые свиньи не могли взять в толк, почему они стали вдруг такими красивыми, с бантиками на хвосте: работа юного «тимуровца» Якоба и его новых друзей и подружек, в том числе казахских. Но недаром животных называют «бессловесной скотиной»: «спасибо» переселенцы от нее не слышали. Что касается хозяев скотины, то те время от времени предупреждали сарайных подселенцев: «Сымытрыты ны сыжырыты! Сыкындалым будым!». Был у казахов свой старик-переводчик по кличке Шубултан: когда-то сумасшедший ветер молодости занес его на первую мировую войну и там, в германском плену, он выучил несколько основных немецких фраз. Теперь, по просьбе соплеменников он ходил от сарая к сараю и кричал: «Доеч! Никс фрессен!», «Ку никс фрессен, перд никс фрессен, свин никс фрессен!». И оттуда ему вежливо отвечали: "Ja, ja, Genosse Schubultan, schon verstanden: nichts fressen – nur riechen!" («Понятно, понятно, товарищ Шубултан: жрать нельзя – только нюхать»).

«Рыхен – кырачо!», – соглашался Шубултан: мол, нюхать можете сколько угодно.

И все равно это был прогресс. Потому что жизнь отошла от нулевой точки и балансировала уже на положительной стороне шкалы выживания. С постоянной тенденцией к улучшению. После нескольких последовательных перемещений Аугуст и остаток его семьи вообще оказались в приличных условиях: мать с сестрой остались в Сыкбулаке, и у них была своя боковая комнатка в отдельном домике, где они мыли и чесали шерсть для хозяйки; тетка Катарина же переселилась к пожилому, одинокому поляку Адаму Сикорскому, пригнанному с западной границы СССР еще в 1939 году и успевшему уже обжиться в степи и даже обзавестись кое-каким хозяйством. Поскольку поляк и сам был врагом народа, то никакого специального протеста по отношению к врагам-немцам он не испытывал, а наоборот, при встрече с Катариной у сельского магазина приложил однажды руку к сердцу и предложил ей дрожащим голосом переехать к нему в избушку на постоянное место жительства. Катарина, не избалованная за жизнь нежными взглядами и дрожащими голосами поклонников, посомневалась немножко, пока стояла в очереди, но когда вышла наружу и увидела, что Сикорский все еще ждет ее, то и

согласилась без дальнейших колебаний. У нее в голове не укладывалось, что она, старуха, еще кому-то может быть нужна. Ведь ей было уже целых тридцать шесть лет!..

Свадьбу «молодые» играть не стали, расписываться – тоже: два сорта врагов народа в одной упаковке – это могло выглядеть как заговор со всеми отсюда вытекающими последствиями.

Свадьбы не было, но пир Адам закатил грандиозный: была самогонка, вареная картошка и квашеная капуста. Больше ничего. Зато много. Аугуст упился с двух стаканов, но еще помнил, что доел третью тарелку картошки, когда вдруг отрубился. Он вел себя как свинья, конечно, но ничего не мог с собой поделаться: он очень хотел есть и никак не мог наесться досыта. Он говорил Сикорскому, что очень любит поляков, и тот ему, кажется, верил, все время подливал крепкой самогонки и говорил, что все будет хорошо и что Аугуст проживет долго. Уж очень это был добрый поляк – тот Адам Сикорский: Аугуст с тех пор и не встречал таких больше. После войны Адам с Катариной – был слух – подались в Среднюю Азию, и там их след навсегда потерялся, к большому сожалению. Не только Катарина: многие, очень многие – почти все родственники и знакомые – исчезли из жизни Аугуста навсегда после того, как Бауэры покинули волжские берега...

Сам Аугуст поселился в рабочем бараке в соседнем большом селе Чарск, при железнодорожной станции, всего на отдалении десяти километров от матери с сестрой. Здесь, при грузовой станции его поставили работать грузчиком; он таскал мешки и бревна, колот и греб уголь, иногда рабочие чего-то строили, копали, пилили. Аугуст стремительно осваивал русский язык – возможно потому, что слов требовалось не так много: «да», «нет» и десятка два матерных. Этого запаса с лихвой хватало как на производственный процесс, так и на обсуждение положения дел на фронте – с неизбежным выводом о неотвратимости победы советских войск в самое ближайшее время.

Работали без выходных, но иногда заканчивали пораньше – часа в четыре дня, или под утро: смотря по смене; тогда Аугуст успевал сбегать к своим, проведать живы ли еще мать с сестрой, и отнести им гостинца: сушеной морковки, мешок угля, пачку денег и даже однажды две банки американской тушенки. Ведь Аугусту теперь платили деньги – это раз; и хотя купить на них было нечего, однако хозяева брали эти деньги охотно: кое-что на них они приобретали у спекулянтов, рискуя шкурой, кое-что – у вновь прибывающих, еще неопытных ссыльных, доверяющие по довоенной привычке государственным дензнакам. Помимо этого, был у грузчиков еще один источник обогащения: воровство. Аугуст поневоле обучился этому ремеслу, протестуя всей своей натурой, но иначе было никак: его бы зарезали, если бы он отказался участвовать в дележе, или попытался воспрепятствовать воровству. Рисковал он, разумеется, чудовищно: задержи его с той же тушенкой из ящика, сброшенного из вагона на ходу – и расстреляли бы его на месте без суда и следствия, как мародера. Каждый в бригаде это понимал, поэтому дисциплина труда была здесь железная. Грузчики постоянно перевыполняли нормы, и им выдавали почетные грамоты, отпечатанные на серой, обойной бумаге. Однажды в сброшенном наугад ящике обнаружили ордена Боевого красного знамени для фронта, и эта находка так напугала грузчиков, что они закопали ящик в степи и долго потом не воровали, затаившись в тревожном ожидании следствия и поклявшись друг другу, что никогда не притронутся к зарытому ящику, и вообще забудут о его существовании.

Много лет спустя Аугуст случайно встретит на базаре в Павлодаре одного из бывших членов бригады, который торговал мясом кроликов. У него был орден на груди. «Сволочь ты, однако!», – сказал ему Аугуст. Старый коллега, как бы извиняясь пояснит, что с орденом легче получить на рынке место получше. «А где остальные?», – спросил его Аугуст. «Почти все уже померли, иные – в тюрьме сидят», – неправильно понял его вопрос бывший коллега и предложил: «Хочешь тоже? Мы с Юрцом поделили, у меня их много. Чего ты? Ведь то были герой-

ские времена, правильно? Мы пахали, рискуя собственными жизнями, как на фронте? Пахали. Помнишь еще ящики с икрой? Для фронтового начальства. Ага! Это когда детишки в тылу с голодухи пухли. А? Было? А ты говоришь – «орден». Имей в виду: все говно, чего жрать нельзя. А что съел – то обратно в говно превращается. Ну чё: дать орден-то? Купи кролика...». Но Аугуст лишь махнул рукой и ушел подобра-поздорову, стыдясь собственных воспоминаний.

Но то будут уже совсем другие времена, когда народ привыкнет относиться к орденам с усмешкой и мало кто будет воспринимать их как святыню. Разве что звезды Героя Советского Союза или Героя Соцтруда будут еще котироваться: за сопутствующие блага типа бесплатного проезда в городском автобусе и льготную очередь на предоставление жилья. И еще за эстетику этих медалей: уж очень хорошо они смотрелись на портретах вождей: ярким золотом по черному полю... Лучшие люди страны получают по две, по три звезды Героя, а иные и в больших количествах. Правда, к тому времени уже и над звездами Героев народ начнет посмеиваться, пожимая плечами. Но то будет нескоро.

Трудно жилось Аугусту в Чарске, но Аугуст был молод, и каждую кислородинку употреблял ради будущего, а память старался отключать как фактор, мешающий жить, парализующий волю. Он научился жить без мыслей. Или только с минимальными мыслями. Потому что мысли будили отчаянье. А с отчаяньем было невозможно тяжело жить. Но жить было нужно: ради будущего. Аугуст не был пессимистом по натуре своей, и верил поэтому, что когда закончится война, то они вернутся в свой дом на Волге: мать, сестра, Вальтер, тетка Катарина – все, кто будут живы к тому времени. Поэтому Аугусту обязательно требовалось выжить. А значит, нельзя было думать. Про Вальтера и про отца – в первую очередь. И про дом, и про сталинский указ, и про замерзших в степи. Аугуст бежал к своим, или возвращался от них и невнятно бубнил себе под нос: «Да, тяжело. Очень тяжело. А кому живется легко во время войны? Но ведь все постепенно налаживается: наши остановили немцев... тьфу ты, черт: фашистов под Москвой, и даже погнали их уже. Скоро их попрут и попрут без оглядки: глядишь, к весне война и закончится. Все депортированные – уже под крышами, в тепле. Разобьют Гитлера – разберутся и с нами. Указ будет отменен. Все будет хорошо»...

– Vater unser... все будет хорошо, – бормотал на бегу Аугуст, мешая немецкий «Отче наш» с предсказанием Адама Сикорского и с собственной мольбой-надеждой, произносимой теперь уже все чаще на русском языке.

Аугуст вообще становился постепенно русским человеком – не в смысле национальности, а в смысле ощущения причастности к единой беде: много их было в Казахстане, несчастных депортированных немцев Поволжья, но и русских со всей страны было тут не меньше. И не только русских, но и корейцев, греков, венгров, финнов, итальянцев, румын: воистину, огромен и многонационален был народ, объявленный Иосифом Сталиным своими врагами. Но этим ли самым заложил великий Сталин основы истинному интернационализму, при котором бесправные немцы, корейцы, греки, чеченцы, венгры, финны, итальянцы и румыны стали братьями по одной, единой беде. Да, это было то самое братство, в котором чеченец без всяких плакатов и призывов стал братом немцу, и крымскому татарину, и белорусскому поляку.

Когда-нибудь закончится война. Преступления сталинского режима начнут порастать бильем-лебедой, люди по старой русской поговорке «кто старое помянет...» забудут все плохое, а еще потому забудут, что страшное помнить никому не охота. Аугуст тоже захочет все позабыть, но не сможет никогда. Например, не сможет забыть он, как на его народ свалилась трудармия: красивое слово, за которым скрывались все те же лагеря ГУЛАГа: рудники, шахты и лесоповалы, забравшие сотни тысяч жизней российского, немецкого народа. Трудармия стала отдельным миром, отдельной жизнью, отдельной эпохой.

Как забыть, например, такой эпизод из его лесоповального рабства?: в марте 1943 года их, трудармейцев, по тревоге выстроили однажды посреди ночи на плацу. Долго стояли зеки на

ночном ветру, по нарастающей ожидая самого худшего. Затем пополз слух: сейчас будут зачитывать личную телеграмму от Иосифа Виссарионовича Сталина. «Какую еще телеграмму? – тревожно переглядывались зеки, – всех в расход, что ли?». Но дело оказалось в другом: целый год руководство лагеря не платило трудармейцам формально положенных им денег, отказываясь от них в пользу оборонной промышленности, с тем, чтобы отрапортовать в Москву, Сталину о собранных лагерем средствах для фронта. Это было очень важно для начальства лагерей: лагеря соревновались между собой кто больше соберет денег. Отчеты о собранных суммах начальники лагерей регулярно телеграфировали молниями в Москву, Берии. Зеков все это интересовало мало: они боролись за каждый конкретный день жизни, их волновали пайки, портянки и делянки; ценность для них представляли не деньги, но размеры паек и каждая минута спасительного сна, восстанавливающего силы. И вот поступил ответ из Москвы, и на плацу построили, украв драгоценный сон, едва живых от изнурения трудармейцев. «Может, на фронт пошлют?», – с надеждой спрашивали некоторые в шеренге. «Как же, жди. Всех – в ров!», – говорили другие, поопытней.

Между тем начальник лагеря взобрался на трибуну, освещенную прожекторами с двух сторон, и завизжал простуженным фальцетом:

– Граждане трудармейцы! Для нас всех произошло великое событие для нашего лагеря исторического значения. Этот миг вы все запомните надолго, до конца ваших жизней... «Все! Конец жизней! В ров!», – простонал сосед Аугуста...

– К нам всем, и к вам в том числе, граждане трудармейцы, с личной телеграммой обращается товарищ Сталин! – продолжал начальник и на слове «Сталин» голос его от избытка чувств дал «петуха», – Наш великий вождь – Иосиф Виссарионович Сталин! – уточнил он, – Внимание! Я зачитываю!:

«Прошу передать рабочим, инженерно-техническим работникам и служащим немецкой национальности, собравшим 353783 рубля на строительство танков и 1 миллион 820 тыс. рублей на строительство эскадрильи самолетов мой братский привет! Иосиф Сталин».

Повисла мертвая тишина. И в этой тишине Аугуст, не совладав с разорвавшейся внутри него бомбой, истошно закричал по-русски:

– Засунь себе в жопу твой братский привет, изверг!!! – (он уже очень прилично говорил по-русски к тому времени).

После этого крика Аугуста сковало параличем: все, теперь конец...

Но никто не рассмеялся, никто даже головы не повернул в его сторону. Все замерли.

– Ура! – скомандовал начальник лагеря в ответ на вопль Аугуста.

– Ура, – согласились ошарашенные зеки несколько вразнойбой.

– Ура! – грозно завопил начальник.

– Ура! Ура! Ура! – теперь уже дружно взревели колонны, сообразив, что смерть прошла мимо.

Только теперь сообразил Аугуст, что кричал сердцем, а не вслух. То был всего лишь внутренний крик его души! Он спасен! От радости, что все обошлось, Аугуст заплакал в своей шеренге, растирая слезы кулаками и содрогаясь всем телом. Глядя на него, заплакали рядом с ним и другие зеки. Начальство и охрана восприняли этот плач почти с умилением: как выражение великой тронутости благодарных немцев словами, которыми удостоил их великий Отец всех народов: лучший друг всех лесорубов, рудокопов, шпалоукладчиков и всех-всех-всех врагов народа без исключения.

Трудармия

Трудармия. Это отдельная историческая эпопея, которую никто и никогда уже по-настоящему не опишет, потому что бойцы ее долгие годы, до самого массового отъезда в Германию жили с плотно запечатанными ртами, в полной мере постигнув всю мудрость поговорки: «Молчанье – золото»; в Германии же их раны уже никому не будут интересны. Вечная боль поволжских немцев осталась в них самих, никакими правозащитниками не разделенная, и вместе с ними постепенно уходит она в никуда... В Саратове молодежь чешет голову иногда, напорвшись тут и там на ржавую немецкую табличку на обшарпанной стене, еще не сбитую по недосмотру. «Разве немцы до Саратова дошли? Ой, не знала!». – «Дура, они тут жили когда-то!». – «Привет! Когда это тут немцы жили?». – «Ну, не знаю: давно когда-то, при царе Горохе. При монголо-татарах, наверно, миллион лет назад: почему я знаю?...».

Да, миллион лет назад – это много. Как, интересно, будет выглядеть человечество еще через миллион лет? Будут ли помнить люди, что жили когда-то на земле монголо-татары? А по берегам русской реки Волги жили немцы?

Ах, какая ерунда! Потому что ничего уже не будет через миллион лет, кроме одной большой черной дыры на весь космос, в которой исчезнут и русские, и немцы, и монголо-татары с царем Горохом, и лишь какие-нибудь синтетические нано-блохи, оставшиеся после человечества, будут догрызать космос, чтобы, сожрав последнее, сгинуть в нем и самим – до следующего Большого взрыва. Тем драгоценнее для ныне живущих должно быть все то, что еще есть, и все то, о чем еще помнится. А помнится – все меньше и меньше...

В середине 1942 года по казахской степи прокатился слух, что депортированных немцев будут забирать в трудармию. Мало кто представлял себе что это такое. Скоро узнали. Трудармия представляла собой систему обычных лагерей НКВД, только зеки в них сидели без статей, объявленных судом, а направлялись туда с гуманной целью: предоставить врагам народа и всякой сомнительной идеологической нечисти возможность реабилитироваться перед товарищем Сталиным и всем остальным, пока еще не рассованным по лагерям советским народом за свои чудовищные замышляемые преступления путем самоотверженного, героического труда в пользу товарища Сталина и всего остального, еще не посаженного советского народа. На выходе из лагерей выжившим было обещано полное прощение, но до выхода из лагерей перед нечистью в целом и российскими немцами в частности расстилался бесконечно долгий еще путь, начинавшийся с утопанных миллионами разбитых башмаков дорог, по которым, под лай собак и заботливые напоминания со стороны конвоя: «шаг вправо, шаг влево – попытка к бегству: стреляем без предупреждения» трудармейские колонны черными ручьями потекли в направлении предписанных им лагпунктов.

Трудармейские колонны уже всю шагали по Сибири, когда этот очередной великий почин советской власти докатился и до северного Казахстана. Опять забежали по домам синие фуражки, опять списки, повестки и строгие предупреждения о последствиях дезертирства, под которым понималась, в том числе, и неявка на призывные пункты. Призывались все способные самостоятельно передвигаться возрастом от пятнадцати до пятидесяти пяти лет. Все оставшиеся пока еще в живых Бауэры подпали под этот жесткий параметр: Аугусту было двадцать три, Беате – девятнадцать, матери – сорок восемь. Аугусту предстояло ехать на лесоповал, матери с сестрой – в шахты Кузбасса. Так значилось в повестках.

Откуда вообще появилось выражение «сидеть» применительно к советской зоне? Это же абсурд! Кто тут сидит, хотелось бы знать? Начальник лагеря разве что: мягкой задницей на мягком стуле. Попки на вышке – и те торчком торчат. Не говоря уже о зеках: те либо мар-

шируют в лес и из леса под лай собак, качаясь и спотыкаясь, цепляясь ногами за корни и падая; либо валятся на нары и засыпают, не успев долететь до засаленного, утрамбованного тюфяка, отдаваясь до пяти утра на растерзание миллионам крохотных, свирепых, лагерных микросталиных: вшей и клопов, а то еще и мошкеры впридачу – если дело происходит летом. В лагерях стоят, лежат, шагают, ползут, бредут, спят вечным сном – но никак не «сидят». Уж что-что, а шагать Аугуст в трудармии научился: по дорогам весенним и зимним, и летним и осенним, и ночным и предрассветным, по широким и петлястым, и скользким и хлябким, по мхам лесным и по болотной жиже выше колена, с инструментом, или с большим товарищем на горбу, в хлюпких сапогах или веревками обвязанных, сосновой смолой от распада обмазанных валенках-катанках: по всякому, как повезет. Была бы такая профессия – «шагальщик», мог бы Аугуст стать академиком.

Станция, на которую пригнали североказахстанский батальон трудармии, принадлежала Забайкальской железной дороге и называлась уважительно, по имени-отчеству: Ерофей Павлович. Здесь, приветствуемых овчарками, трудовых бойцов и бойчих не слишком ласковыми голосами попросили на выход, и шеренги бесчисленных Эмилей, Рудольфов, Карлов, Эрихов, Вильгельмов, Христианов, Фердинандов, Эммануилов и Аугустов, или, у другого состава – Эльз, Эмилий, Амалий, Агнесс, Эмм, Изольд, Герт и Христин – долго и бестолково строились у вагонов в некое подобие гвардейских отрядов, после чего вдоль шеренг ходили рабовладельцы в портупях и отбирали себе подходящий товар для совершения трудовых подвигов. В результате этого конкурса Аугуст Бауэр очутился на берегу реки с предупреждающим названием «Урка» (не путать с рекой Уркан, которая протекает по этой же лесистой местности, но чуть подальше на восток).

За рекой Урка каждый день поднималось солнце. Солнце все еще было живо. Мало того: оно упрямо и по плану восходило каждый день – дождь ли, слякоть ли, выть ли охота, спать ли, жрать ли, или просто лечь и сдохнуть: оно вставало, и вставало, и вставало опять, как пример терпения и трудового подвига – абсолютно необходимых составляющих Победы. Для каждого зека солнце было, помимо трудового примера еще и символом надежды: покуда солнце встает по утрам – жизнь продолжается и будущее возможно...

Ерофеевское лаготделение специализировалось на лесозаготовках, к которым отряды трудармейцев и приступили без проволочек. Подобно тому, как 7-го ноября 1941 года марширующие мимо мавзолея дивизии Красной армии прямым ходом, не сбавляя шаг отправились бить фашистов за ворота Москвы, так теперь немецкие колонны трудармейцев непосредственно с платформы станции Ерофей Павлович отправились в тайгу бить лес, валить деревья. А деревья сопротивлялись и били немцев. Да, именно так оно и было поначалу: топоры вырывались из рук, со звоном отскакивали от стволов и толстых, подло пружинящих ветвей, били по ногам и по напарникам, калечили неопытных вальщиков. Это явление было с первого дня объявлено преднамеренным членовредительством и каралось поэтому сурово, по законам военного времени, вплоть до расстрела, если становилось ясно, что вредитель в силу полученных травм в трудовой строй все равно уже не вернется. Никто не желал войти в положение несчастных немцев и понять, что ни в Поволжье, ни в казахских степях нет тайги, и что этот народ, привыкший жить под ярким солнцем, а не под таежными мхами, боится густых теней и высоких деревьев: особенно таких, в три обхвата, за которые где-то там, наверху, цепляются и раскачивают их облака. Ну-ка, иди-ка, спили-ка такое колоннице – и само небо упадет тебе на голову, небось, вместе с ним! Эти древесные исполины, когда их пилили, намертво зажимали полотно пил, гнули и ломали их, долго не поддавались топорам и валились, наконец, на убивших их людей, стараясь загрести своими кронами как можно больше этих маленьких, вертячих, злых существ с их смертельными, железными зубами и стальными клиньями. Деревья тоже вели свою священную войну за выживание, они стояли стеной и не желали сдаваться. Но как не мог противостоять какой-нибудь тщедушный Роберт Бон из деревни Новое Карлсруэ на

Волге отцу всех народов Джугашвили-Сталину из города Москвы, так же и живая плоть дерева не могла сопротивляться равнодушной, мертвой стали человеческих инструментов. И потому исход противостояния был предрешен, и немецкая трудармия, «преодолевая упорное сопротивление противника», – как сказал бы диктор Левитан, – медленно и победоносно наступала на тайгу.

«Лес рубят – щепки летят». Истинное понимание этой известной русской поговорки дошло до немцев лишь в лагере: их, трудармейцев – народных отщепенцев – действительно «летело» без счета. Покуда научились, покуда приспособились – загнулась как бы не треть новобранцев. При этом еще и загнуться требовалось с умом. Дело в том, что нормы выработки давались побригадно и понедельно, а пищевые пайки выделялись подушно и ежедневно, на основании вечерних и утренних поверок. Поэтому умереть в понедельник считалось большим свинством со стороны зека, то бишь трудармейца; ибо в этом случае зек с довольствия снимался в тот же день, а горбатиться за его норму бригаде требовалось еще целых шесть дней. Таким образом, трудармейцев, померших в понедельник, все недолюбливали, и каждый, у кого не было уже сил жить, старался помереть в воскресенье, или хотя бы в субботу.

Между тем норма на человеко-горб была велика, очень даже велика: приблизительно семь с половиной кубов за смену, составлявшую 14 часов каторжной работы.

Семь с половиной кубов в смену – это приблизительно двадцать пять сосен: смотря какая делянка попадется. Может оказаться и тридцать пять стволов, а может и до пятидесяти. Дальше шел «хворост», который не котировался. Тонкие деревья любили лишь новички: тонкие пропиливались легче, но вокруг них нужно было бегать бегом, чтобы успеть выполнить норму, а на бег уходили силы. Очень скоро новички начинали мечтать о сосновых борах с мачтовым лесом, когда одного дерева в час хватало для выполнения нормы. Но не знали новички, что даже эти счастливые четырнадцать деревьев в смену, означающие арифметически сорок два дерева на звено – это еще не норма. Потому что фактическая норма была намного выше: во-первых, за счет «запаса», который закладывало опытное лагерное начальство на случай падежа рабочей силы, не компенсированного вовремя новыми поставками рабов – а это происходило все чаще по мере того, как война истощала народный ресурс; во-вторых, за счет уголовников. Эти последние представляли собой беду любого лагеря – как для остальных, «нормальных», ни в чем не повинных, то есть «политических» заключенных, так и для самого начальства. Вообще-то уголовники в структуре трудармейских лагерей не предусматривались, но мало ли что не предусматривается в жизни, но становится потом вдруг неотъемлемой ее частью. Возможно, уголовников было так много, что традиционная пенитенциарная система, не способная всех их приютить, распределила их в том числе и по трудармейским лагерям; а может быть, их придали трудармии в качестве скрытой помощи администрации, которая понимала, что уголовники стоят к государству гораздо ближе «политических», и могут быть в умелых руках использованы лагерным начальством в качестве силы, держащей лагерь в страхе и послушании. Не исключено, что это была специфика лишь трудармейских подразделений лесоповального профиля. Но факт был налицо: как в первом лагере Аугуста, так и в следующем блатные составляли примерно пятую-шестую часть контингента заключенных и, соответственно, за эту пятую часть нужно было «ломать» норму: сами-то урки не работали, и их проще было убить, чем вложить им в руки пилу. Говорят, были попытки в некоторых лагерях приставить уголовных к созидательному труду, но все эти эксперименты кончались либо бунтами, либо массовыми побегами. Руководство скоро распознало, что блатных в лес лучше не выпускать, и приспособило их выполнять полезные функции внутри лагеря: в частности, более-менее грамотных уголовников ставили учетчиками. Еще уголовники любили резать хлеб, а их шестеркам позволялось трудиться в сферах материального обеспечения, как то: на кухне, в пекарне, бане, санчасти, овощном цеху, на подсобном огороде, свиноферме или коровнике (там где тако-

вые были, а во многих трудармейских лагерях они допускались и имелись – к большому удовольствию начальства). Поэтому уголовные, так же как и само лагерное начальство никогда не голодало, в отличие от трудармейцев, для которых каждая калория имела цену жизни, и которые очень быстро научались эти скудные перепадающие им калории распределять поштучно и помышечно, с постоянными корректировками на время года, дневную норму и еще десяток внезапных обстоятельств типа болезни, карцера или увечья.

Таким образом, регламентированная приказом по лагерю норма в двадцать два с половиной куба леса на звено за смену превращалась в реальности в тридцать кубов, и думать каждое утро, шагая в темноте колонной в сторону леса о том, что нужно успеть свалить до вечера девяносто – сто деревьев за сегодня, да еще штук двадцать в погашение накопившейся недельной задолженности... нет, об этом лучше было не думать, а просто пилить, пилить и пилить, уповая на Бога и на судьбу. В лагере вообще лучше всего ни о чем было не думать. Потому что думать – больно. А боли и так полно было – и в теле, и в душе: постоянной, безысходной. Так зачем мучить себя еще и раздумьями? День прошел, норма освоена? – хорошо. Неделя прошла, норма сделана, за это положена баня? – вообще отлично! А что будет через месяц? Что будет через год? Через десять лет? Это были глупые вопросы, которые никто не задавал, чтобы не прослыть чокнутым и не вступить на путь к «штрафбату» – в бригаду навсегда наказанных. Потому что какому нормальному бригадиру нужен чокнутый, на которого нельзя положиться, который, рехнувшись, в любой момент может вывалиться из трудового хомута, оголить звено, создать трудовую брешь в бригаде, в отряде: брешь, закрывать которую придется другим, возможно даже – ценою чьей-то жизни? Как в первобытной стае, общее выживание всех зависело в бригаде от физического состояния каждого. Востребованы в каждой бригаде были сильные, выносливые и стойкие духом. Чем больше таких, да еще, по возможности, живучих и удачливых удавалось бригадиру собрать к себе в команду, тем легче было всей бригаде в целом и каждому ее члену по отдельности. Все хотели попасть в сильную бригаду, чтобы иметь больше шансов выжить, но куда девать тогда слабых? Тех самых слабых, которых всегда и везде больше чем сильных? Понятно поэтому, что слабые имелись в любой бригаде, и невыполненную ими норму приходилось вытягивать сильным, что порождало внутренние напряжения, которые сглаживать приходилось бригадиру, каждый раз решая сложную дилемму: перекладывать невыполненную норму слабых на сильных, или доморить слабых до «штрафбата» и пополнить бригаду новыми бойцами. При решении этой дилеммы гуманистический фактор имел вторичное значение. Списать или не списать хорошего человека в «штрафбат», где он очень скоро загнется со стопроцентной гарантией? – вопрос состоял вовсе не в этом; хорошие и плохие люди – всё это были понятия мирной жизни. Здесь, в лагере система ценностей была другая: вся психология была подчинена только одному девизу: выжить. Соответственно, гуманным было только то, что служило этой цели. Это вовсе не означало, что каждый выживал в одиночку, карабкаясь по головам других, слабых. Скорей как раз наоборот: выживания ради люди сплачивались, объединялись, стояли один за другого, как солдаты в бою, и ценилось тут не доброе сердце, но цепкие руки и крепкий характер. Слабый, но упорный – такого тянули как могли; слабый и павший духом – такого сдавали на бойню без большого сожаления: возиться с павшими духом было некогда, все силы души и тела уходили и тратились на выполнение нормы – дневной, недельной, бригадной, отрядной: на этом концентрировалось все существо без остатка. Кого и когда сдавать – бригады решали это практически единолично, собственным жестоким приговором, если приходили к выводу, что лучше рискнуть заменой, как при игре в очко, чем тащить на себе ноющего слабака. В этом и состояла дилемма: сильного-то взять на замену неоткуда, а заполучить можно лишь другого слабака, который, возможно, еще хуже прежнего окажется. На таких бригадирских сомнениях только еще и держались последние надежды слабых, которые жили между отчаянием бессилия, надеждой выжить и ужасом от нависающего над ними «штрафбата».

«Штрафбат» в ерофеевском лагере – это было личное изобретение начальника лагеря Якова Берзина: мера, мобилизующая, по его убеждению, трудовой коллектив на подвиги. Подневольные подвиги вообще лежали в основе ГУЛАГа, но Берзин довел этот жанр до совершенства. В «берзинский штрафбат» переводились в порядке наказания те зеки, которые хронически не выполняли норму выработки, и которых «списали» бригады: перевод в «штрафбат» происходил, таким образом, достаточно демократично, с учетом «воли народа». Само собой разумеется, что норма в «штраfbате» оставалась прежней, а вот с довольствия штрафники снимались начисто – до выполнения дневной нормы, во всяком случае. По принципу: выполнил – поел; не выполнил – выходи на следующий день в лес голодным и валя деревья как хочешь – даже если сил нет уже и до леса добрести. Не нужно быть профессором логики в калифорнийском университете, чтобы предсказать, что доходяга на таких условиях больше двух недель прожить не может (зимой меньше: зимой доходяги подыхали за неделю – и то самые упорные). Хитрость Берзина состояла в том, что бойцы «штраfbата», снятые с довольствия, одновременно и списывались, то есть удалялись из списка живых, однако напилить маленько они еще успевали до смерти, и весь этот лес, напиленный обреченными, уходил в неучтенку, в «резервный запас». В этой схеме все было продумано Берзиным до тонкостей: мотивация слабых не попасть в «штраfbат» оказалась настолько сильной, что сразу исчезли все симулянты, рвавшиеся в санчасть, на кухню или на свинарник; по-настоящему же слабые и больные, которые «нежилыцы» по определению, из последних сил стараясь не отставать, быстро надрывались и мерли, уступая место новым, свежим зекам, которых поначалу присылали изобильно, изрядно забаловав начальников лагерей. Даже то обстоятельство было учтено Берзиным, что выжить или сбежать из «штраfbата» на подламывающихся ногах, чтобы доказать властям, что передача еще живого работника в лапы смерти является преступлением против человечности, было невозможно: практика показала, что «берзинского штрафбата» не пережил ни один зек. Правда, не все умерли в трудовом порыве: некоторые вскрыли себе вены, иные повесились, отдельные упрямы отказались вставать с нар и умерли в бараке, несколько «штраfbатовцев» продержалось до трех месяцев за счет сердобольных товарищей, отделяющих им от своих пайков, но бригадиры строго следили за этим безобразием: бригадирам важно было, чтобы каждая калория шла по назначению и усваивалась в пользу бригады. Впрочем, был один-единственный случай побега из «штраfbата»: Горлитц, Шмидт и Вангауэр ушли в начале лета сорок третьего с делянки и сумели углубиться в тайгу на целых три с половиной километра. Здесь они разыграли на хвоинках кому пожертвовать собой, и выпало Шмидту. Шмидта зарезали и стали жарить на костре; от нетерпения поленились набрать сушняка, и по столбу дыма над лесом их нашли и вернули в лагерь. Запасов от съеденного Шмидта Горлитцу с Вангауэром хватило, как ни странно, на целых три недели, после чего людоеды уснули на нарах, ни о чем не сожалея, в том числе и о прожитой жизни: она, реальная, кончилась для них так давно уже, что ни один из них не мог сказать с уверенностью остальным, в том числе и самому себе – а была ли она вообще за пределами лагеря?

После трудармии, тут и там и везде по жизни пересекаясь с другими экс-зеками, Аугуст с удивлением узнал однажды, что ему в трудармии жилось, оказывается, еще много лучше, чем заключенным на обычных зонах. Ведь у Берзина в лагере была баня, свиноферма, магазин, огород! И каждый седьмой день – выходной. «Баня! Магазин! Выходной!: да вы, немцы, просто на курорте отсиделись от войны в своих трудармиях, а не гнили заживо на зонах, как все порядочные люди!», – возмущались опытные клиенты советского ГУЛАГа, слушая рассказы Аугуста о своем трудармейском прошлом. И повествовали свое: как из отряда в двести пятьдесят человек, опущенных в шахту, к весне осталось восемь; или как пробирались живые в лагерный морг и срезали мясо со свежеумерших, так что хоронили, или точнее сказать, закапывала затем похоронная команда одни скелеты; или как все та же похоронная команда тайно

торговала мясом... Аугусту оставалось лишь горестно кивать: он вполне верил тому, о чем ему рассказывали.

Но даже и эти бывшие заключенные, пережившие ад – колымские, беломорканалские, воркутинские почтительно замолкали, слушая про «берзинский штрафбат»: такого не было даже у них, такого не было нигде.

И хотя «штрафбат» был истинным полюсом ужаса в ерофеевском лагере, все-таки центром тяжести всех страстей, интриг и событий была контора, где правили бал учетчики, то есть урки под недремлющим оком лично майора Берзина.

О, это была очень сложная кухня, с причудливым раскладом отношений. От учетчиков, помимо ежедневной, а также, соответственно, недельной, месячной, поквартальной и так далее фиксации выработки на основании данных, получаемых от бригадиров, требовалось еще и «перераспределять» эту выработку в лагерный «резерв». При этом учетчики воровали цифры еще и в пользу уголовных, которые, понятное дело, не работали, но норму всегда «перевыполняли», и им положена была баня и полный паек. Учетчики жили сытно, но и рискованно: их с равной вероятностью могли расстрелять строгие комиссии по учету леса, так и посадить на пику лагерные авторитеты за необеспечение норм выработки для урок. Последняя угроза была ближе к телу учетчика, так что урки всегда ходили в передовиках, и помимо бани и полных пайков, они еще и в лагерном магазине отоваривались, потому что у них водились деньги, положенные в качестве премии за перевыполнение нормы. Уголовные же перевыполняли нормы регулярно, и их паскудные морды висели на доске почета у входа в контору (в лагерь для этого время от времени привозили фотографа). При этом блатные еще и презирали «леших»: зеков-тудармейцев, которые горбатились в лесу и из-за тех же урок поганных через раз не вытягивали норму, голодали и клянчили порой жратву у уголовников, продавая им за кусок хлеба или за картофелину свои, кровью и стонами вырванные у тайги «кубы»; которые месяцами не мылись в бане, а потому были вшивые, чесались как блохастые собаки и смердно воняли рядом с сытыми, тепло и добротнo одетыми уголовниками.

Разумеется, начальство эту ситуацию прекрасно отслеживало, но ничего поделать не могло, да и не желало: при таком положении дел уголовные, для которых трудармия действительно являла собой подобие санатория, были послушны, управляемы и даже почтительны с лагерным начальством, никуда не собирались бежать и с удовольствием помогали держать дисциплину на зоне. По своим собственным понятиям, ясное дело. Тут пролегал некий оптимум между властью начальников и властью блатных авторитетов: слишком уж отдавать лагерь на откуп уголовникам власть тоже не решалась. Так что это было тонкое место, водораздел: уголовным хотя и разрешалось «воспитывать» трудармейцев, но не до смерти, а так, чтобы не снижать трудового потенциала лесорубов. Но блатные были существа увлекающиеся, азартные, непослушные, и часто калечили «воспитуемых». В результате охране частенько приходилось выступать на стороне трудармейцев, и однажды некая уголовная сволочь даже была пристрелена, когда урка полез с ножом на солдата, пытавшегося отогнать его от убиваемого им зека. Это вызвало бурю возмущения в стане уголовников, и чуть ли не забастовку, с угрозой отозвать из конторы в бараки всех учетчиков – с непредсказуемыми для лагеря последствиями, потому что без учета продукции с ежедневными флажками на графике плана выработки, очень скоро лично для начальника лагеря могло прокуковать громкое «ку-ку». И Берзин это понимал, разумеется, и целую неделю своей драгоценной для страны жизни потратил на трудную дипломатию, которая включала три пьянки с уголовными авторитетами и – отдельно – одну парную баньку со смотрящим зоны Владиком Червоным. В результате блатным были сделаны послабления в режиме, блатные пообещали, со своей стороны, трудармейцев больше не калечить, а случись такое – за базар отвечать, то есть отдавать своих блатных на расправу властям. «Общество» осталось недовольно этим решением Владика, но Червоный был очень силен на

зоне, так что пасть разевать никто не решился. Трудовым зекам стало житья чуть-чуть легче. Хотя бы в плане отношений с блатными. У тех появилась теперь новая игрушка: в пакет соглашений между Владиком и Берзиным входили «сердечно-сосудистые свидания», разрешенные уголовникам по специальным спискам, составляемым Владиком и утверждаемым Берзиным.

После чего по лагерю стали немного опасливо шлëndать вихлястые марухи – ярко накрашенные, жирно политые ароматизантами. И откуда они только брались здесь, в глухой тайге, во время войны? Абсолютная загадка природы. Типа вошей, которые тоже возникают как будто бы ниоткуда – стоит человеку ослабнуть от голода да не помыться с месяц.

Как бы то ни было, после «уголовной реформы» учетом спиленного леса все равно продолжали заниматься уголовники. А бессловесные трудармейцы – немцы и «бабай» – все так же валили лес и замертво валились рядом сами. Трудармейцы уповали лишь на своих бригадиров: больше было не на кого; бригадиры отвечали за производство и имели – через лагерное начальство – определенное влияние на учетчиков. Сильный бригадир мог даже права своей бригады отстоять в определенной степени, проследить, чтобы его бригаду не «стригли» под корень. Иной хороший бригадир мог и вовсе отбиться от «оброка», если бригада попадала в кризис из-за плохой деланки, или вследствие затяжных, долго не компенсируемых потерь личного состава. Сильный бригадир – это была большая ценность, как для зеков, так и для начальства, которое в конечном счете тоже ведь полностью зависело от плана: не выполнен план – кто виноват? Трудармейцы? Э, нет! Кто такие трудармейцы? Это – рабы, это – трудовой скот, это навоз трудового скота – не более того. А виноват тот, кто не смог выжать из этого скота план, то есть – лагуправление. И по законам военного времени... дальше неинтересно. И майор Берзин стоял первым в этой очереди ответственности за выполненный план. Поэтому к плану Берзин относился как к великой святыне и, соответственно, на бригадиров тоже проливалось немножко от этого горячего отношения: когда они план выдавали, понятное дело. Когда нет, то и с последними разговор был короткий, матерный и злой. Однако, не нужно забывать, что происходило это во внехристианскую эпоху, когда неоправдавших доверия божков легко бросали в огонь, и выстругивали себе новых, хороших...

Но откуда они брались – хорошие бригадиры, в самом деле? А Бог его знает. Из народной массы – откуда же еще? Как-то сами собой возникали – в силу характера ли, крепких кулаков, смелости ли, злости, всего этого вместе в разных комбинациях. Ясно, конечно, что все они были тоже разные: скандальные и мордобойные, спокойные и упрямые, как огнеупорные кирпичи, но и подлые тоже были, и расчетливые только в свою пользу, шестерящие перед начальством. Всякие были. Лучшими считались те, которые думали в первую очередь о бригаде и умели брать за горло учетчиков, то есть откровенно враждовали с уголовниками, не давали бессовестно списывать с бригады ее «кубы», обворовывать звенья и отдельных лесорубов. Такие бригадиры жили в постоянной опасности. Несмотря на пакт Берзина-Червоного, реальная жизнь лагеря трагических случаев не исключала: поскользнуться на мокром полу и упасть, сломав себе при этом шею, или утонуть случайно в сортире может ведь каждый – это дело житейское, вопрос судьбы и теории вероятности, так что некоторые ценные бригадиры имели для борьбы с вероятностью постоянных, добровольных телохранителей из состава своего же отряда или бригады, и редко ходили по очень уж мокрому полу, или в сортир в одиночку.

Одним из хороших бригадиров в ерофеевском лагере считался Теодор Нагель. Принципиальным и справедливым был он. Хотя многие считали его даже слишком принципиальным и чересчур справедливым. «Gerechtigkeit ist Alles!»: «Справедливость – это всё!», – любил он втолковывать своим людям, и так и действовал, как говорил: воспитывал свою бригаду в духе коллективной справедливости. В рамках здравого смысла требовал он справедливости и от уголовных учетчиков, хотя на этом уровне справедливость понималась сторонами диаметрально

противоположно, до рукоприкладства. При этом Нагель вел с уголовными и с начальством гибкую политику: бригадные «кубы» на блатной «общак» и на берзинский «резерв» отдавал, однако высчитывал отдаваемое собственноручно и скрупулезно, и отдавал ровно столько, сколько считал оптимальным, а не столько, сколько с него хотели слупить блатные (а слупить они всегда хотели все, да еще два раза столько же сверху). Тут нужно было филигранное чувство меры, потому что потеснить начальство было возможно, но аккуратно, чтобы не обозлить его: от начальства зависели хорошие делянки и сильный состав бригады: будешь борзеть сверх меры – получишь одних доходяг, вместе с которыми и в «штрафбат» угодить немудрено при неблагоприятном развитии событий; с другой стороны, будешь делиться слишком щедро – во-первых, обнаглеют и потребуют еще больше, а во-вторых – надорвешь бригаду, и дальше все пойдет по известной схеме: хроническое соскальзывание по норме выработки – потеря сил – списание в утиль – «штрафбат». Нагель этим чутьем обладал, и еще умел виртуозно материться – совершенно без акцента и с элементами русской, лагерной «фени», что делало его просто уникальным кадром на ерофеевской зоне. К Нагелю в бригаду хотел попасть каждый зек, и зная это, начальство изошренно торговалось с Нагелем по принципу «сильные кадры за дополнительный лес», но и бригадир Нагель был уже калач тертый, умеющий набрать себе работников с большим знанием дела, умеющий разглядеть в невольнике жилистость, упорство и способность к запредельным перегрузкам. Только таких, особо ценных рабов «покупал» Нагель у начальства «за кубы». На обыкновенных же леса не тратил, а «доводил до ума» таких уже на месте, за счет умелого распределения по трудовой цепи и оптимальной компоновки звеньев. Именно таким вот, «коммерческим» путем, сменив по разным, не он него зависящим причинам пять бригад, в марте сорок третьего года в бригаду к Нагелю попал и Аугуст. Он понимал, что ему повезло, но понимал и другое: эту честь придется отработать особенно доблестным трудом, оправдать доверие. И он его оправдал, потому что было ради чего: душ с теплой, иногда даже горячей водой плюс полный паек, пусть мизерный по нормальным понятиям, но хотя бы не урезанный до мышинной дозы, позволял выжить в лагере. А выжить Аугусту нужно было обязательно: найти Вальтера, мать с сестрой, дожидаться реабилитации немцев и вернуться в Поволжье, отремонтировать свой дом, который наверняка окажется разваленным чужими, незаботливыми руками, и жить, жить, жить, жить... Наверное, его биологическая программа была с этой целью заодно; возможно, что и персональный ангел-хранитель, знающий его путь наперед, заставил природу вложить в него на несколько жил больше, чем в других зек, да еще и постоянно подпитывал его незримой дополнительной энергией в те моменты, когда сил, казалось, не оставалось уже даже на дыхание. Совокупный результат усилий этого безвестного ангела был таков, что Аугуст продолжал и дышать, и пилить, и шагать, и из месяца в месяц не болел, не поддавался морозам, мошкаре, уголовникам и падающим вокруг него деревьям. Ему, правда, часто казалось, что он уже умер, и что это только оболочка его еще шевелится сама по себе и что-то делает, работает, посылая время от времени мозгу, как сигналы «SOS», импульсы боли, или голодные спазмы. Но все-таки, это лишь казалось ему, а когда кажется, то надо креститься, что Аугуст исподтишка и делал частенько под видом, что поправляет шапку или натягивает на себя одеяло...

И все же, при всех трудовых перегрузках Аугусту стало житья при Нагеле намного легче: у Нагеля был во всем режим и порядок. Даже больные, которых оставляли в бараке в качестве «шнырей», что в переводе с уголовного означало дежурных, не имели права валяться и стонать, но обязаны были трудиться: мыть, чистить или менять, например, сено в тюфяках (вату из казенных, утрамбованных в блин, густо населенных вшами подстилок Нагель, рискуя головой за порчу государственного имущества, распорядился выкинуть из барака и сжечь еще давно, и бригадные доходяги, непригодные для валки леса, способные лишь обрубить ветви и жечь сучья и древесный мусор, с наступлением лета заготавливали в лесу сено и притаскивали его в лагерь – для набивания тюфяков). Удивительно, но факт: в долагерной жизни Нагель вовсе

не был военным человеком, не был даже ответственным руководителем, и вообще никаким начальником не был: он работал в заготовительной конторе и увлекался пчелами. Жизнь пчелиного улья была в его представлении божественным проявлением целесообразности и справедливости в природе. Труд людей он часто сравнивал с идеальной организацией: с трудом пчел. «Идеальное недостижимо, – поучал он свою бригаду во время перекуров, – но к идеалу нужно стремиться. Уже одно только это стремление делает труд человека осмысленным и оправданным». – «К этой бы твоей осмысленности да еще мясо бы полагалось, или хотя бы сала кусок, – тяжело вздыхал кто-нибудь из зеков под осуждающими взглядами товарищей: тема еды среди голодных считалась неэтичной.

Но ничто не вечно под луной. Нагель погиб, и его гибель обернулась для бригады катастрофой. Нагель погиб в некотором смысле тоже из-за «штрафбата», хотя и оттого еще, что чересчур, до абсурда стремился к справедливости. Нагеля убил Йозеф Шпарвитц, член бригады. И Нагель отчасти спровоцировал свою смерть сам. Потому что ничто не должно выходить за пределы меры: так рассудили члены осиротевшей, обреченной бригады Нагеля после того, как все это случилось. Кстати сказать, бригаду после Нагеля лагерное начальство предложило возглавить Аугусту: все-таки техникум за плечами, и опыта уже много накопил в качестве вальщика. Но Аугуст решительно отказался: отвечать за чужие судьбы, за чужую жизнь он не хотел и не умел. Он умел отвечать и бороться только сам за себя, а в руководители не годился. Из каждой бригады рано или поздно приходилось кого-то списывать в «штрафбат», то есть отправлять на смерть, чтобы не тянул бригаду на дно. Аугуст знал наперед, что никого никогда «списать» не сможет, равно как и драться с уголовниками за «кубы», или терпеть пьяные, вздорные мордобои со стороны охраны и лагерного офицера. Аугуст отказался, и еще кто-то отказался, и в результате хорошую, крепкую бригаду расформировали, и совсем плохо стало каждому. Но Нагеля зеки все равно не осуждали, даже понимая, что все могло быть иначе, не будь Нагель столь непреклонным. С осуждением и озлоблением вспоминали трудармейцы не бригадира своего, оставившего бригаду в беде из-за собственного упрямства и фанатичного стремления к справедливости, но Йозефа Шпарвитца, убившего Нагеля. И для многих раскрылась вдруг одна удивительная истина: справедливость, оказывается – это вовсе не прекрасная дама в белоснежных одеждах, всегда безупречная в своей абсолютной правоте, сидящая на вершине горы, видной со всех сторон всем муравьям земным, но комбинация ржавых и подчас очень грязных пружин, за которые тянут сразу многие, и когда система эта приходит в движение, то последствия этого перетягивания могут оказаться непредсказуемыми, ничего общего с людскими представлениями о справедливости не имеющими. Например, в этом случае: чья справедливость взяла верх? Нагеля? Или Шпарвитца? Или ничья? Или Справедливость – это, типа, кресло такое, в котором борцы сидят по очереди, по мере того как один другого спихивает? Ну и кто в нем теперь сидит? Те, может быть, которые Шпарвитца расстреливать повезли за вредительство? Что называется: те, которые смеются последними? Так может, и нет никакой справедливости на белом свете, а есть нечто, похожее на мираж в пустыне, в котором каждому видится своё? Или это та самая прекрасная дама на горе, которая, если к ней приблизиться, превращается в обычное, мокрое облако, готовое раствориться или улететь от первого порыва ветра, а то и вовсе оборачивается белым уродом с омерзительной рожей по кличке Абсурд. Ведь на самом деле: это же уму непостижимо!: эпидемии, морозы, урки, голод, энцефалитные клещи, мошка, непосильные «кубы», автоматные очереди охранников, болота, пневмонии, падающие деревья – ни одна из этих злых сил не свалила Теодора Нагеля, а погибнуть ему суждено было от руки члена собственной бригады, да еще в результате каких глупых, воистину абсурдных обстоятельств.

Хотя, с другой стороны, обстоятельства эти были достаточно типичными для ГУЛАГовского ада, а потому вполне заслуживают упоминания. Вот как это все произошло:

Были в бригаде у Нагеля два брата-близнеца Шпарвитцы: Фритц и Йозеф. И вот, насколько они были похожи друг на друга лицом и фигурой, настолько же разные были характерами: Йозеф – спокойный, основательный, немногословный, лучше два раза промолчит, чем один раз что-нибудь скажет, и Фритц – непоседливый таратор, порывистый, нетерпеливый, склонный к мелкому шкодству. Но это бы ладно – петушистость Фритца: каторжный труд, не оставляющий сил на балаболство, все характеры в конце концов сближает; всех скакунов делает тягловыми слепыми клячами на круге. Был у Фритца один дефект, который не поддавался никакому лагерному воспитанию: он постоянно хотел жрать. То есть – постоянно хочет жрать любой зек, но Фритц не умел и так и не научился терпеть голод, жить с ним, регулировать его. Возможно, эта была какая-то патология его организма, особенность его желудка, или, скорей – мозга. Голодный Фритц страдал как наркоман при ломке, и ломка его была нескончаемой: он сходил с ума, выл, скулил и жаловался, и готов был жевать сено из матраца, глотать мошкарку и есть мух: жрать все подряд, что содержит хоть несколько калорий. Летом он ухитрялся ловить, обжаривать на костре и есть лягушек, убегал с делянки ловить рыбу на самодельную снасть с загнутым под крючок гвоздем. Бывал бит, два раза вносился в список «штрафбата», но каждый раз ему приходил на помощь старший из двоих – Йозеф, который продавал свои «кубы», валялся в ногах у урок, бригадиров и начальства, готов был стать сексотом или даже чьей-нибудь «женой» – лишь бы «младшенький» остался жив, лишь бы с ним ничего не случилось. Выручив брата в очередной раз, он отдавал ему часть своего пайка, вламывал за двоих, таял сам, но не мог допустить, чтобы его «маленький Фритцхен» загнулся. Научить Фритца правильно есть, распределять, растягивать пайку на весь день оказалось невозможным. Та мудрость, которую каждый зек на лесоповале постигает уже через неделю, Фритц не освоил ни за месяц, ни за год: он все пожирал разом, и уже через час начинал стонать и корчиться. Йозеф пытался пристроить брата при кухне, но кухня была под урками, которые чужих в свой бластной мир не допускали; Йозеф пытался доказать начальству, что Фритц серьезно болен особой болезнью, но те лишь смеялись: «Прожорливость – не болезнь, а распушенность нравов. Пусть выполняет план, и получает полную пайку. Мало и этого? – пусть дает два плана. Получит две пайки». Начальство прекрасно знало, что зеки и так вырабатывают в среднем по два плана на голову, и что второй план расплзается на бластных и уходит в резерв. Но таких аргументов офицеры не принимали, и грубо отвечали Йозефу: «Тогда, значит, пускай делает три плана! Пошел нахер отсюда!».

После того как Йозеф вызволил Фритца из списка «штрафбата» в очередной раз, ему удалось умолить Нагеля взять их обоих к себе в бригаду. Поскольку у Нагеля почти всегда выполняли план, то и с питанием в его бригаде обстояло получше, чем у других, и Йозеф надеялся, что Фритцу тут будет хватать. Нагелю вовсе не светила идея взять к себе в команду «оглоеда», озабоченного жратвой, но Йозеф обратился к Нагелю с известным расчетом: он знал, что у Нагеля в бригаде как раз заболели дизентерией двое и что Нагелю срочно требовалась замена, а подходящей не ожидалось как минимум две недели еще, до прибытия новой партии зеков. При этом Нагель был осведомлен о том, что Йозеф – отличный работник, способный выдавать до трех норм, и дал ему себя уломать, согласился взять братьев в комплекте, полагая, что старший брат сам позаботится как о выполнении нормы за двоих, так и о жрачке для Фритца. Оба клятвенно пообещали, что так оно и будет. Но уже через три дня Фритц изошрился и сожрал чью-то пайку, пробравшись в столовую с чужой бригадой под видом новенького. Он уже вылизывал миску, когда его засекли. Фритца побили, вывихнули руку и лупили в живот; он потерял сознание, но пищу не отдал – ни горлом, ни кишкой. Его выкинули во двор, сдали охране, он схлопотал карцер и вышел оттуда еще более озверевшим от голода. Йозеф отдавал Фритцу свои пайки. Фритц съедал их и плакал от голода и оттого еще, что он ужасный негодяй и объедает брата. В один из ближайших последующий дней, когда на делянку привезли обед, не хватило вдруг одной пайки хлеба. Подозрение пало, конечно же, на Фритца. За ним побежали, но он уже торопливо дожевывал свою пайку, а следов от дру-

гой нигде не было. Имело место быть только два варианта: либо Фритц успел съесть двести грамм чужого хлеба на бегу, либо это Йозеф ухитрился украсть хлеб для брата и припрятать его в лесу. Кому-то из сучкорубов досталась в тот день одна лишь каша на воде. Справедливый Нагель выделил бедолаге-сучкорубу половину своей пайки, а потом, вечером, перед отбоем, подошел к братьям и предупредил, что если подобное повторится в его бригаде хотя бы еще раз, то он разбираться не станет, а просто вышвырнет обоих из бригады – независимо от того, выполняют они свои нормы или нет. Обоих. Как взял: в комплекте. А кто конкретно из братьев украл хлеб, Нагель даже и выяснять не стал: повернулся и ушел. С тех пор братья еду не воровали, но зато впали в другой грех: стали «по-черному», минуя бригадира, продавать свои кубы уркам за жрачку. У урок жрачки было всегда полно: даже сгущенное молоко водилось. Дополнительным условием братьев было при этом, чтобы учетчики их не выдавали. Но Нагель был бригадир скрупулезный, и сразу заметил «списание» с учетного листа бригады лишних, неучтенных кубов. Нагель пошел разбираться с пристрастием, уркам лишние вопли и тумачи были ни к чему, притом что тайна братьев была не их тайна, и судьба братьев была им до фени, так что они без лишних слов «сдали» неудачливых «продавцов» бригадиру, отказавшись, естественно, возвращать проданные «кубы», потому что, как известно, по воровскому закону «за базар нужно отвечать»: сделка состоялась, и Нагель в ней – не при делах, что называется: «Отвали, моя малина». Этот закон зоны был, разумеется, отлично известен и Нагелю; поэтому спорить с блатными он по этому пункту не стал, а снова пришел к братьям и сказал им: «Это несправедливо – то, что вы сделали!». Все знали, что такие слова Нагеля – это приговор, близкий к высшей мере. Иосиф упросил бригадира не наказывать их, и пообещал вернуть долг: лечь костями, но вернуть. «Да, так будет справедливо», – согласился Нагель, – но если вы при этом надорветесь, то я вас спишу в «штрафбат». Это мое слово, а я свое слово не меняю». Уж как там братья ложились костями – Аугуст не видел, потому что работал в другом звене, но надо полагать – вламывали они капитально, потому что несколько дней подряд выдавали по три нормы каждый, а потом Фритц действительно надорвался: сорвал спину так, что его скособочило. Всерьез скособочило – не симулятивно: позвонок, что ли, вышел у него, или еще что-то сместилось в несущем скелете тела. И все бы обошлось, если бы Фритц, уже из санчасти, не «продал» все, что они с братом вдвоем наработали в порядке погашения долга, и вообще все за неделю. Это был чудовищно подлый удар по бригаде. А Фритц лежал на нарах в санитарном бараке, орал от боли в спине и жрал: тушенку, макароны, сгущенку, хлеб, морковь – все подряд, что ему подносили блатные в обмен на проданные кубы... Надо отдать им должное: урки слово держали, и Фритц получил от них все по договоренности – за все сто тридцать два «куба» леса, принадлежащего по сути всей бригаде.

Целый месяц, пока Фритц лежал на нарах, Йозеф работал на убой, медленно компенсируя огромную задолженность перед бригадой. Нагель с ним не разговаривал, игнорировал. Через месяц скособоченный, опирающийся на палку Фритц вернулся в бригаду – жечь сучья. В тот же вечер Нагель подал рапорт и сдал Фритца в «штрафбат»: сучкорубов у него было и так с избытком. Йозеф валялся у Нагеля в ногах, пытался целовать сапоги, не давал работать, сам не работал, умолял забрать рапорт, но Нагель остался непреклонен. «Все, – обрезал он, – я предупредил, что так будет, я дал моё слово. Я свое слово не поменяю. Это мое решение – справедливое решение». И каждый, кто знал Нагеля понимал, что если Нагель сказал про справедливость, то это – приговор окончательный.

Фритц протянул в «штрафбате» всего шесть недель, а потом удавился в лесу на тетиве от лучковой пилы. Перед этим он ел какую-то лесную траву вместе с корнями, жевал кору, грыз шишки, потом катался по земле, держась за живот, корчился и кричал. А потом побежал и удавился. Остальные «штрафники»-доходяги – сами едва живые – даже и особого внимания не обратили на кричащего, а затем свисающего с сука Фритца. Даже за охранником не пошли, который на соседней поляне грибы на костре жарил. Так и сидели безучастно под сосной, смот-

рели как покачивается в петле бывший гражданин Поволжья Фритц Шпарвитц. Удавился и удавился – велика ли невидаль? Остальным берзинским штрафникам своих собственных дней оставалось – на пальцах пересчитать: может, завтра конец, а может и сегодня еще... Все тут давно уже сдались судьбе и покорились неизбежному.

Это произошло в июле 1943 года. А несколько дней спустя, на делянке, рано утром, перед работой, Йозеф Шпарвитц, без слов, подошел к Нагелю сзади, поднял топор и разрубил ему голову пополам.

Потом бросил топор и сел на пенек, ко всему безучастный. То была жуткая сцена: ничего страшней в жизни Аугуста потом не было. Аугуст помнит: он стоял и смотрел на поверженное тело. Только что бодро шагавший впереди командир их, уже не человек, валялся ничком на земле с головой, разваленной как арбуз на две половины, и кровь, и серо-зеленая масса... земля, хвоя вокруг была мокрой от ночного дождя, и она дымилась, эта масса, от нее шел пар и острый запах. И вдруг у Нагеля дернулась нога, и кто-то из толпы зеков глупо позвал: «Эй, Теодор...»...

Аугуста никогда не рвало в лагере – ни от червей в каше, ни от вони в бараке, ни от вида мертвецов, но тут он согнулся вдруг у дерева, за которое держался, и его стало выворачивать наизнанку. В какой-то момент Аугуст подумал, что у него кишки идут горлом – так это было больно и страшно, и он задышался... Потом кто-то закричал охраннику, который остался позади – сидел уже, наверное, у костерка, сальце на штыке поджаривал; затем раздались топот, беготня, крики, мат... Все это время Аугуст простоял на коленях, плотно зажмурившись и сдавив уши, стараясь думать о чем-нибудь постороннем, чтобы не начать блевать снова.

Этот миг показал, что он еще не был достаточно матерым зеком. Правда, не он один: еще человек шесть из бригады оказались не матерыми...

Шпарвитца арестовали, быстро провели следствие и куда-то увезли. Слух прошел – расстреляли. А для Аугуста начались плохие дни. Аугуст угодил к бригадиру Краузе, и медленно и верно погибался у него. У Зигфрида Краузе погибались все. Краузе был худшим из всех бригадиров. Этот Краузе за свою бригадирскую карьеру заморил на делянках и списал в «штрафбат» двадцать шесть человек, бессовестнейшим образом приписывая себе чужие кубы. Краузе один выполнял в своей бригаде норму, закономерно задвигая всех остальных в категорию доходяг. Краузе был гад. Но и над такими типами суровые законы лагеря умели вершить возмездие – опять же, к сложному вопросу о справедливости. Как говорится: сколько веревочка не вейся, а на конце все равно петля обнаружится. За плохие показатели Краузе из бригадиров в конце концов разжаловали в рядовые лесорубы, после чего за хронически низкие показатели в работе он и сам «дослужился до штрафбата». Подробности того, как он там подыхал никого уже не интересовали, поэтому история об этом полностью умалчивает.

Собственно, плохие дни с конца лета сорок третьего начались в ерофеевском лагпункте не только для Аугуста, но и для всех, включая руководство лагеря. Ухудшение обстановки произошло за счет того, что лес в округе вырубил, а план остался прежним. До леса ходить стало много дальше, участки потянулись заболоченные, выработка пошла на убыль, и даже «штрафбат» перестал действовать стимулирующе: у зеков просто не хватало уже ни сил, ни времени, чтобы дойти до леса, вырубить норму и вернуться в лагерь: на этот цикл требовалось теперь от восемнадцати до двадцати четырех часов. Берзин попытался было поставить в лагерных инстанциях вопрос о снижении плана, да чуть было не поплатился за это партбилетом. Лагерного «резерва» хватило ненадолго: он растаял за месяц. Тогда Берзин ввел новые правила: отменил выходной день, например, а также внедрил дневные персональные нормы вместо еженедельных, когда у бригады была возможность за шесть рабочих дней сгладить перепады выработки в течение недели и обеспечить себе баню и полный паек на шесть дней вперед. Раньше

«кубы» хотя и учитывались каждодневно и персонально, но черта подводилась лишь в воскресенье, побригадно; теперь спрос с каждого стал ежедневный. При этом стало так: не выполнил дневного плана – не получаешь вечером горячую баланду, а норма хлеба на следующий день снижается до 300 грамм. Без полной пайки выполнить норму следующего дня, да еще и предыдущую наверстать становилось все сложнее, по нарастающей, так что через месяц такой реформы в доходагах у Берзина числилось уже поллагеря, а выработка упала на две трети. Берзин угодил в западню: снизить норму он не мог, потому что его тут же спросили бы грозно, отчего это он в такое тяжелое для страны время, когда фронт и заводы задыхаются без древесины, когда каждый советский человек... ну и так далее... почему он в эти напряженнейшие дни снижает нормы и недодает родине леса? При этом оправданий его никто бы и слушать не стал, а его просто расстреляли бы в назидание другим. Повысить пайку он тоже не мог, потому что его тут же спросили бы не менее грозно, почему это он транжирит драгоценные продукты питания на фоне падающего производства, все с тем же логически неизбежным результатом: расстрел. Чтобы спасти свою шкуру, или хотя бы оттянуть финал, Берзин занялся приписками. Количество приписок росло, согласно науке диалектике количество перешло однажды в качество, приписки вскрылись, и к новому, 1944 году Берзина таки расстреляли. Перед расстрелом он кричал, говорят: «Да здравствует товарищ Сталин!», и «Это несправедливо!». И опять эта справедливость...

Оставшиеся в живых зеки очень – в меру оставшихся сил – радовались этому предновогоднему событию: не столько тому даже, что расстреляли Берзина (за это само собой благодарили Деда Мороза), сколько тому, что государственная комиссия, пересчитав ошметки разгромленной трудармии и количество деревьев в окружающей тайге, сочло за лучшее лагерь «Ерофеевский» просто-напросто закрыть, расформировать, а уцелевших лесорубов перераспределить по другим лагерям.

Однако, между фактом расстрела Берзина и фактом закрытия ерофеевского лагеря пролегло еще несколько зимних месяцев длиной в вечность, плюс долгая, холодная весна – времена жестокие и беспощадные, сократившие численность зеков еще не менее чем на треть – и это уже после Берзина и без его «штрафбата»!

Забавно, но факт: иные доходяги, умирая, не плакали на прощанье, а радостно улыбались, вспоминая про расстрелянного Берзина: это было, пожалуй, их единственным приятным воспоминанием о лагерной жизни, с которым жалко было расставаться. А других воспоминаний уже и не было почти, разве что чудились или снились зекам иногда какие-то странные сказки из непонятной эпохи, в которой вместо огромных, черных барачков стояли маленькие, светлые дома с палисадничками, и в домах этих жили смутно знакомые люди, называющие себя родными, и родственниками, и друзьями... Друзьями, о-хо-хо... Но всё это были иллюзии. Потому что ничего до трудармии не было, как не было ничего в мире до рождения Вселенной, и скоро ничего снова не будет... А был только лагерь, лагерь, лагерь без конца, и еще Берзин был, которого наконец-то расстреляли, и это была такая хорошая новость перед главным сном... это был как подарок в дальнюю дорогу, как награда за все испытанные муки... вот только о справедливости не надо опять...

И все-таки до весны дотянули многие – почти двести человек, включая уголовных, разумеется. К категории уцелевших лесорубов относился и Аугуст. Его спас в этом ерофеевском аду счастливый случай. Однажды в середине января сломался дизель-генератор, дававший ток в бараки и на прожектора. Вертухаям на караульных вышках без прожекторов стало жутко: им все время чудилось, что снизу напалзают на них зеки с ножиками в зубах с целью нанесения им множественных колото-резаных обид на тело. Начальство разделяло крайнюю озабоченность своей охраны: «Караульный без прожектора – это все равно что жопа без дырки: бесполезная вещь!», – кричал заместитель к тому времени уже расстрелянного Берзина по телефону,

срочно требуя монтера. А монтер все не ехал. Тогда охрана забегала по разоренным бригадам в поисках специалиста-электрика. Вызвался Аугуст: все-таки он был сельхозмеханик по образованию, тракторист, шофер – все вместе. Генераторов он не чинил, правда, но уж лучше гайки крутить в лагере, чем деревья валить на дальнем болоте, до которого тринадцать километров пешего хода сквозь пургу и мороз.

Аугусту повезло: он разобрал генератор и нашел обрыв в обмотке. Обмотку удалось зашунтировать куском меди от стартера грузовика, который – не велик барин – может и ручкой заводиться, так что через день прожектора на зоне вспыхнули снова. На всякий случай Аугуста оставили при генераторе – и уже сам этот факт означал спасение, особенно зимой: возле генератора было тепло! Тепло представляло собой второй из главных трех источников радости зека; первым была еда, третьим – сон. Нет, пожалуй был еще и четвертый: хорошая, надежная обувь. Обувка. Сапоги. Или – еще лучше – валеночки. Потому что с босыми ногами в тайге не проживешь. В тундре – тоже. Равно как и в шахте, и на руднике. Это у Кощея жизнь спрятана была в яйце. У зека она прячется в добротных сапогах. Да только где их взять-то – такие сапоги-сапоженьки, которые гораздо дороже стоят по государственному прејскуранту, чем сам мечтающий о них зек...

* * *

После расформирования ерофеевского лагеря, весной сорок четвертого года Аугуста забросили еще дальше на восток километров на семьсот, в новый лагпункт неподалеку от таежного города с чарующим названием «Свободный»!

У нового лагеря не было имени, а только какой-то условный номер без смысла, но зеки так его и звали, со всем понятной ласковой иронией: «лагерь Свободный».

Свое прибытие в лагерь «Свободный» Аугуст запомнил навек. После «Ерофеевского» первое впечатление от нового лагеря было сказочным. Когда они прибыли и вошли в ворота, их прежде всего пересортировали и сразу же повели кормить горячей гороховой кашей, что было невероятно уже само по себе: еще ни одного куба леса не выдали, а уже – каша вам, пожалуйста! Затем их вывели на плац, на первое построение, и к ним вышел начальник лагеря Аграрий Леонтьевич Горецкий, полковник. Он приветствовал всех с улыбкой на устах и со словами: «Тайга велика, граждане заключенные, но и мы с вами не лыком шиты, не палкой штопаны: половину тайги ваши трудовые товарищи заключенные уже свалили без вас, осталась вторая, и мы ее завалим общими усилиями ради нашей великой победы, которая неизбежна! Всем ясен ход моей мысли?». Зеки на всякий случай промолчали. А Горецкий продолжал петь, голосом тонким и нежным, как у Ленского в опере «Евгений Онегин»:

– Родина предоставила вам для этого все бытовые и производственные условия: сухие помещения (в переводе: бараки), спальное оборудование (понимай: «нары»), отопление (понимай: «буржуйки»), механизированные средства труда (в переводе: «топоры и пилы»), и трехразовое горячее питание, с нормой хлеба 800 грамм на человека в сутки при условии выполнения нормы и снижении пайка до 500 грамм при невыполнении нормы!... В этом месте его речи у трудовых батальонов, уже хлебнувших горького опыта в других лагерях, возникло ощущение массовой слуховой галлюцинации и соответствующего замешательства.

– Чем дальше в лес, тем толще пагритизаны! – ахнул рядом с Аугустом Абрашка Троцкер, который очутился в одной трудармии с немцами по сговору с властями; арестован-то он был изначально за фамилию, как троцкист, и вдруг на какой-то пересылке – рраз! – ушел на допрос евреем, а вернулся немцем. «Они ргазобгтрались однажды, что настоящая фамилия настоящему Лейбе Тгроцкому была Бгронштейн вовсе, – ликовал иногда Абрашка, вспоминая свое счастливое избавление от троцкизма, – а просто так отпустить-то меня нельзя, невозможно! Это же был бы элементарный, сгранный позогр на голову нашим доблестным оргранам! И вот оргр-

ганы говогают мне однажды: "И что с тобой тепегрь делать, Абгращка – ума пприложить невозможно. Грасстрелять тебя что ли ппри попытке к бегству? Был бы ты немец – отпправили бы мы тебя сейчас в тгрудармию, деньги бы ты там греб широккой лопатой! А тепегрь возникает огргромная ппроблема с тобой... Может побежишь, а? Ну хоть до двегрей: ну пожалуйста...". А я-то намек уловил с лету да как закгричу им: «Гитлегр капут, товагрищи!», и дальше кгричу я им тут же, не сходя с места; «Зигргфрид зай гезунд! Айн-цвай-дграй: магрш шайзен за саг-рай!», – минут ттридцать так-то вот гразогрялся ппегред ними, и таки доказал им свою ппринадлежность к великому немецкому нагроду!».

(В «Свободном» Абгращка прижился затем легко и скоро: сначала он стал шить рукавицы, фуфайки и ватные штаны – по гражданской профессии он был портным – а после перешел на более высокий класс и обслуживал мелком, иглой и швейной машинкой товарищей офицеров и их жен-красавиц, которые ведь что в тайге, что на луне – всегда и везде хотят оставаться красавицами. Так что в лес Абрама не посылали, хотя в общих шеренгах на вечерней и утренней поверках он обязан был присутствовать, и он исправно присутствовал, раздражая одних и забавляя других зеков своей трескучей болтовней и картавыми прибаутками. Но и те, которые на него злились за холуйство и за легкую жизнь в лагере, вполне отдавали себе отчет, что этого кучерявого головастика в лес посылать все равно бесполезно: либо придавит насмерть бестолкового первой же сосной, либо завалится он в сугроб да и захлебнется в нем, пытаясь всем рассказать о своих последних ощущениях).

Тогда же, на плацу, в день прибытия этот самый Абгращка был в полном восторге от новых правил в новом лагере, и возбужденно вертелся в шеренге во все стороны:

– Таки это тепегрь санатогрий такой будет для нас, что ли, грграждане зеки – я что-то никак не могу сообгразить по ппригородной моей невинности?

– А мясо, блядь? – это уже выкрикнул из нестройной отдельной шеренги кто-то из блатных. Эти и тут тоже были, черт бы их побрал...

Ну да плевать на них. Как скоро выяснилось, прав у них здесь было куда меньше, чем в «Ерофеевском», и это было хорошо. И вообще, здесь было лучше во всех отношениях. Разве что бараки набиты были плотней: сказалось резкое укрупнение «Свободного». В сравнении с «Ерофеевским» новый лагпункт был гигантский: раз в пять крупней. Он, в отличие от «Ерофеевского», даже и назывался «объединенным», что по сути означало только то, что здесь было собрано каждой твари по паре – как на Ноевом ковчеге или вавилонской башне: трудармейцы, воры, политические, русские, бабаи, кулаки, немцы, западэнцы, а также представители «старых гвардий», официально обозначаемые как «социально чуждый элемент»: контрреволюционеры, бывшие жандармы, помещики, фабриканты и офицеры белой армии, а также латыши, поляки и, конечно же, блатные – куда без них на советской зоне?..

Кого только не встретил тут Аугуст!: – его познания об истории государства Российского расширились в этом лагере до горизонта летописца. И летопись эту он собственноручно и писать начал: пилой и топором.

Был в этом лагпункте и адъютант маршала Жукова, и член правительства Колчака – интеллигентный, строгий старичок в пенсне, которому доверили очистку сортиров всего лагеря; был Митя-«Билет» – бывший начальник почтового вагона, который, пока ехал, вскрывал пакеты с бланками кинобилетов, и сбывал эти бланки на станциях своим подручным жуликам от культпросвета. Оказывается, билеты в кино, как дензнаки, печатали до войны только в Москве и рассылали затем по всей стране. Митя попался на торговле бланками и схлоптал «четвертной» – двадцать пять лет. Видимо, судьи прикинули, что именно на такое время бесплатных просмотров он наторговал билетов. Хорошо, что его вовремя остановили – мог ведь и лет на сто пятьдесят наторговать: кино-то было популярным – сам Ленин его называл самым великим из искусств и настойчиво рекомендовал народу... Еще имелся в лагере бывший герой Советского Союза немецкой национальности, а также действующий парторг –

и тоже немец. Еще запомнился Аугусту скульптор из областного центра Коленов-Шанский, сокращенно «Коцанский», который сел когда-то за голубиное дерьмо, и которому второй раз уже продляли «лагерный контракт». Он тут резал из стволов кедра бюсты вождей пролетариата для тюремных клубов, а также из боковых ветвей – маленькие бюсты лагерного начальства, его жен и детей, и конечно: кто же просто так отпустит столь ценного формописца главной страницы советской истории – истории ее лагерей? А сел Коцанский по результатам выступления на одном межрегиональном съезде ваятелей, где он доложил о результатах многолетнего изучения цветовой гаммы голубинового дерьма, и даже продемонстрировал составленный им колер, в который следует отныне красить все статуи коммунистических лидеров. Коцанский потребовал от съезда принять решение об изготовлении впредь памятников Карлу Марксу, Фридриху Энгельсу, Ленину и Сталину не белого, черного или серого тонов, но исключительно из материалов цвета универсального голубинового дерьма, поскольку лишь при таком условии не видно со стороны, что проклятые птицы вытворяют, сидя на головах вождей. «Обидно видеть, как говно свисает с ушей Владимира Ильича Ленина на центральных площадях наших городов и сел. Невозможно без слез смотреть в засранные глаза нашего дорогого Иосифа Виссарионовича...» (в этом месте, говорят, он и впрямь заплакал, но было уже поздно). Засранные глаза дорогого Иосифа Виссарионовича привели Коцанского в лагерь. Надолго.

Много, очень много нового узнал для себя Аугуст в лагере «Свободный». В сущности, на примере ерофеевского лагеря, а затем «Свободного» Аугуст постиг темную, трюмную половину устройства советского государства, ее тускло освещенное, вонючее машинное отделение, в глубине которого крутились шестерни и двигались приводные ремни государственности; и стоимость дешевого лагерного топлива – человеческих жизней – тоже стала потрясающе очевидной Аугусту именно здесь, в лагере. Но и другой опыт жизни он обрел на зоне: нигде специально не преподаваемой наукой высвечивалась здесь истинная цена благородству и подлости, честности и низости человеческой; сила духа и отчаянье, трусость и злоба, надежда и обреченность проявлялись здесь неприкрыто и искренне, как перед судным днем. Все здесь было предельно конкретно и ясно, если, конечно, не задавать себе философских вопросов, от которых все ясное враз становится абсурдным.

В «Свободном» все было так же, как и в тысяче других лагерей ГУЛАГа: зеки разделялись на уголовных и политических; уголовные – бандиты и воры (урки, блатные) – составляли свою собственную иерархию, и под управлением лагерного начальства терроризировали политических, которые были в своем составе еще более пестрыми, чем уголовники: тут были большевики ленинского замеса и белогвардейцы, полицаи с Украины, ненавидящие советскую власть и русских, и староверы, не пожелавшие сменить свои копченые иконы на образ Сталина в красном углу избы, православные священники, не подающие руки староверам, и красные комиссары, матерящие и тех и других; были советские офицеры, угодившие в лагерь напрямую после выхода из окружения и восхваляющие Сталина и кубанские кулаки, злобно шипящие с риском для жизни «грузинская жопа»: и все это были политические. В этом раскладе трудармейцы представляли собой зеков принципиально новой породы: в соответствии с законом, они и зеками-то, то есть заключенными не были, а являлись мобилизованными «бойцами трудовой армии» – понятия нигде конституционно не прописанного. То есть трудармейцы не были ни уголовными, ни политическими, и строго говоря, их и врагами народа-то называть было неправомерно, но именно они, а не политические (уголовные вообще могли считаться на этом фоне «друзьями народа») воспринимались в лагере главными врагами народа, потому что именно они носили клеймо пособников Гитлера, и следовательно, были в глазах остальных зеков – и уголовных и политических, а также и самого лагерного начальства последним сортом дерьма; ведь любому дерьму важно, каким бы он сам дерьмом не был, чтобы где-то рядом болталось дерьмо еще более низкой пробы. Именно это и порождает горьковское: «Человек –

это звучит гордо!». Да, видеть вокруг себя говно, которое еще хуже, чем ты сам – это и есть главный источник самоуважения в системе человеческого общежития; самоуважения или его разновидности – спеси, которой, как ни странно, тоже было полно в этом обществе несчастных и отверженных – в сталинских лагерях.

Поначалу Аугусту в новом лагере несказанно повезло: узнав, что он закончил техникум и является механизатором, его сразу же посадили на трактор – трелевать лес. Когда за тебя работает железо – это уже большое облегчение. Шансы выжить в лесозаготовительном лагере у тракториста-трелевщика были намного выше, чем у простого лесоруба. Поэтому попасть на трактор считалось везением, упавшим с неба. Аугусту повезло потому, что начальник лагеря как раз начал дисциплинарную кампанию против блатных, которые в основном и пристраивались трактористами, чтобы иметь свободу передвижения вне лагеря и возможность торговых контактов с местным населением. При этом урки частенько ездили пьяные, куражились, лихачили и давили лесорубов. Полковник Горецкий – начальник лагеря – решил положить этому конец, и таким образом, внезапно освободились вакансии, одну из которых и занял Аугуст в апреле месяце. Правда, ничем хорошим это не закончилось. Однажды, после двухнедельных дождей в начале июня подмыло берег лесной речушки, и трактор Аугуста рухнул в воду и перевернулся. Чудом удалось Аугусту выбраться из кабины и вынырнуть, и хорошо еще, что хлысты удержали трактор от дальнейшего сползания в глубину, а то и вспоминать обо всем об этом было бы некому. Аугусту хотели припаять вредительство, но выручил офицер охраны, который случайно ехал в сторону лагеря в тракторе позади: сменяться. Он подтвердил, что Аугуст берегов лихачеством не сокрушал, а что берег обвалился сам по себе. Трактор удалось вытащить и отремонтировать, так что Аугуст отделался легко: его посадили в яму на десять дней, чтоб не повадно было берегам обваливаться. Посадили, надо заметить, сразу из кабины, насквозь мокрого, и Аугуст отсидел весь срок, но даже насморка не схватил.

– Это потому, что тебя твой ангел хранит! – объяснил вернувшемуся из ямы Аугусту его сосед по «этажерке» – четырехместной нарной конструкции – юный Адик Дорн, слегка похожий лицом на поэта Сергея Есенина с книжных портретов, когда бы тот не поел с годик-другой досыта...

– Мой меня тоже хранит! – похвастался Адик заодно, – ни разу не болел еще за год!

Работая на тракторе, Аугуст был приписан к бараку, в котором размещалось шесть бригад, в том числе и бригада Эдуарда Трендилова; вот в барачную «зону» Трендилова Аугуст и попал по распоряжению лагерных начальников, и делил одну «этажерку» с лесорубами Трендилова – Адиком и двумя Шульгастами – до самого перевода в бригаду Фишера. К Фишеру же Аугуста направили непосредственно после истории с трактором – в качестве дополнительного наказания, не иначе, потому что Фишер считался в лагере плохим бригадиром: у него смертность была особенно высокая. Фишер божился, что это оттого, что ему постоянно всучают хлюпиков. Лесорубы, однако, придерживались другого мнения: они утверждали, что у Эдика Трендилова, например, гвардия вальщиков не намного мощней фишеровской, а у него все живы по полгода и больше, и даже в бане моются иногда. Об этом «трендиловцы» инструктировали Аугуста на прощанье, когда он переезжал от них в другой барак: они напутствовали его держать ухо востро и максимально экономить силы по принципу «стоять лучше чем ходить, сидеть лучше чем стоять, а лежать лучше чем сидеть, причем подольше и в тепле».

– У Фишера дохлячий конвейер, а не производство, – предупреждал Аугуста Адик Дорн, – мрут как мухи!

– Полностью соответствует действительности, – подтверждал, протирая треснутое пенсне бывший член правительства Колчака, главный говночист лагеря.

«Эх, ребята, – говорил им на это Аугуст, у которого тоже был уже свой опыт лагерной жизни, – вы и понятия не имеете, как мрут трудармейцы по-настоящему!», – и он приводил им в пример «штрафбат» ерофеевской зоны. Трендиловцы качали головами и говорили: «Может и так, верим тебе. Да только пойдя и глянь на наше кладбище у леса: это же "чуден Днепр при тихой погоде", а не кладбище: редкая птица долетит до середины его, не присев ни разу отдохнуть на холмик... Специальная бригада блатных имеется: с утра идут могилы рыть для наших; любят они это дело, даже места уже продавать пытались за кубы, да мало кто из наших попался на провокацию: мол, как узнаю, когда помру, что ты меня в сухенькую положишь? Но были и которые соблазнились, поверили».

Что ж, конечно и «Свободный» не был санаторием, как представлялось поначалу Абраму Троцкеру. Это был вполне себе нормальный концентрационный лагерь, только набитый не всякой пленной нечистью, а своими, родными, советскими зеками, любящими свою родину и за нее же и умирающими тут, в лагерях – в отличие от упомянутой выше пленной нечисти, подыхающей на чужбине безо всякого смысла (хотя находились в лагере зловредные, идеологически чуждые официальной линии партии философы, которые утверждали, что это все равно – как подохнуть: главное, что подохнув, ты уже не живешь; и надо сказать, что эта примитивная философия в силу своей доступной простоты и ежедневной наглядности находила сочувственное понимание среди рабочих масс, хотя и считалась великой крамолой, удлиняющей зеку срок трудового подвига лет на пять: все-таки настоящему советскому человеку полагалось подышать не как попало, а с образом Ленина-Сталина, ну или хотя бы, на худой конец, Карла Маркса и Фридриха Энгельса в меркнувшем сознании).

Так что в лагере «Свободный» было то же самое, что и везде, и родные заключенные, включая трудармейцев, мёрли плюс-минус в пределах нормы учетной убыли, установленной для лагпунктов лесодобывающего профиля. Причем не только под стволами деревьев погибали зеки – то есть как бы в бою, – но и от болезней, физических перегрузок, инфекций, блатных ножей или – тоже не редкость – пуль охраны. Помимо этого, в «Свободном» довелось Аугусту стать свидетелем смертей, произошедших по совершенно курьезным основаниям. Так например, все тот же романтический сосед Аугуста по нарам Адик Дорн умер в том же еще, сорок четвертом году вследствие отравления крови взбесившимися гормонами, а другого соседа с нижних нар – Брудера Шульгаста, которого еще иначе звали Кузя, Аугуст успел собственноручно похоронить, пока жил «на этажерке» с трендиловцами; причем убил Кузю самый обыкновенный домашний сверчок. Обе эти удивительные истории поселились в памяти Аугуста навечно. Вот они:

* * *

В трудармейском лагере «Свободный» зеки личных номеров и закрепленных за ними нар не имели, и расселялись по бараку произвольно. То ли это снизу, из народа пришло, от блатных, то ли сверху – непосредственно от главного тюремщика страны Лаврентия Берии, но это было хорошо, и случайные пришельцы с общих зон такой распорядок лагерного быта хвалили. Трудармейцы распределялись по рядам, уровням и «этажеркам» побригадно, поотрядно, позвенно, но и по признакам землячества, возраста, приятней, национальности, интеллекта, а также социально-иерархических соображений. Все это снижало напряженность барачных социальных отношений в целом и порождало успокаивающие микроклиматы – в любом случае, в масштабе «этажерок», или «кубриков»: спальных конструкций, устроенных по примеру армейской казармы из двух сдвоенных нижних и, соответственно, верхних полок, объединенных единой железной (иногда деревянной) рамой. Такая организация спальных мест была не во всех бараках. Такие вот, «этажерочные» бараки считались классом повыше, их назы-

вали «купейный барак» в отличие от других, «плацкартных», где нары в два этажа тянулись вдоль барака длинными рядами от стены до стены. Еще были бараки-«товарняки» с нарами в три этажа. Аугуст сразу попал в элитный «купейный» барак, и делил свою «этажерку» с тремя заключенными: Адиком Дорном, спавшем рядом с ним на верхних нарах и двумя пожилыми зеками внизу, носящими одинаковые фамилии Шульгаст. Причем одного из Шульгастов звали странным именем Брудер (что означает «брат» по-немецки), и он оказался не Шульгаст вообще: он был на самом деле русский мужичок с орловской губернии по имени Кузьма Ильич Пшонков. А вот другой Шульгаст – Петер – тот был действительно поволжский немец с левобережья: замкнутый, чернявый копошун, который, если не спал, то что-нибудь ремонтировал у себя в одежде, или сортировал веревочки, проволоочки, гвоздики, кусочки мыла и прочие сокровища тюремного быта, и хоронил их в недрах своего тюфяка. История Шульгастов была поразительна, как сама послереволюционная история. Когда-то эти двое познакомились в окопе на «империалистической», и после того как пару раз взаимно выручили друг друга во всяких наступательных переделках и при отступлениях, то и подружились, в конце концов. Потом Шульгаст вернулся к себе в Поволжье, а Пшонков – на свою орловщину. Потом был голод в Поволжье, и Шульгаст чуть не отдал Богу душу, в то время как Пшонков выгодно женился на мельнице и потолстел. Потом голод в Поволжье миновал, и Шульгаст разбогател на кукурузе, которую никто тогда не сеял, а он, привезя с войны мешочек семян, развел ценную культуру на своем участке и ухитрился не съесть весь посадочный материал во время голода, но сохранить часть и засеять со временем целое поле. Он завел сытых молочных коров, купил сепараторы, и дело у него пошло в гору. Между тем большевики приступили к индустриализации, и Пшонкова раскулачили в прах: эта давилня пришла на орловщину раньше, чем в Поволжье – возможно потому, что немцы Поволжья тихо-мирно коллективизировались, как велено было, и там поэтому единоличников, не пожелавших стать колхозниками, стали обозначать кулаками и трогать за вымечко железной рукой не сразу. Шульгаст сдал половину земли и двух коров в колхоз, и остался единоличником на второй половине при стаде в двадцать голов и быке-производителе. Наемных работников он, правда, разогнал на всякий случай, чтобы не светится в качестве эксплуататора. Но теперь ему приходилось туго: рабочих рук его собственных, жены и двух еще незамужних дочек не хватало, чтобы справиться с хозяйством и везде успеть. Между тем Пшонков у себя на орловщине прошел по лезвию бритвы, и наблюдая как расстреливают у стен собственных амбаров имущих хозяев, обрел несвойственные ему быстроту мышления и скорость ног; эти новые качества позволили ему примчаться в сельсовет вперед комбеда и, в отличие от друга своего Шульгаста, в один миг сдал в пользу дорогой Советской власти все под метелку, включая стулья и занавески. Из сельсовета Пшонков вышел бедным как церковная мышь, но счастливым обладателем дальнейшей жизни: теперь он значился в списке беднейших крестьян, и находился под защитой государства. Теперь он мог с полным правом вопить вместе с другими босьяками: «Вали мироедов! Даешь коллективизацию!», – и ему рукоплескали. На первое время он был спасен и перебрался со всей семьей в халупу недавно батрачившего у него дальнего родственника, который как раз очень удачно помер от заворота кишок незадолго до коллективизации. Ввиду крайней бедноты, обрушившейся на Пшонкова, репрессировать его не стали, отметив на собрании революционную сознательность, сумевшую преодолеть в нем его кулацкую сущность. Его оставили в покое, но только покой этот «калориев не содержал», и Пшонков затосковал: дела его были на самом деле плохи: от пули он увернулся, теперь требовалось перехитрить каким-то образом смерть от голода. По-возможности, не вступая в колхоз. Потому что колхоз этот Пшонков ненавидел до непроизвольного свиста в легких, но вынужден был это горячее чувство скрывать по возможности. Он ненавидел колхоз не только за то, что отдал ему все что имел, но и потому, что видел, какие дела там творятся. А там творилось рабовладельческое общество с патриотическими песнями, которых Кузя Пшонков, кстати, тоже не любил. Короче – впору было ему класть зубы

на полку, если бы таковые полки имелись в халупе родственника; однако, мебели в хате не было никакой: одни гвозди из стен торчали – и те деревянные. И тут пришло письмо от боевого товарища – про коровок, про поля, про кукурузу, про то, что с ног сбивается. Пшонкову при мысли о коровках представилась сметанка, и сливки, и маслице, и свежая телятинка, и он чуть не подавился спазмами. Пшонков тут же отписал другу своему ответ с дипломатичным вопросом, а не нужен ли Шульгасту работник в лице старого друга, который и не подведет, и не обворует. Шульгаст сообщил вскорости, что да, хорошо бы, навозные вилы найдутся, только нужно, чтобы Кузьма родственником оказался. И вот рванул Пшонков на Волгу, к Шульгасту под видом младшего брата, «брудера» по линии внучатого племянника двоюродной сестры деверя, или что-то в этом сложном роде. Тогда это еще не называлось «вахтовым методом», но по сути дела Кузьма трудился именно так: с апреля по октябрь – у Шульгаста, на зиму – к семье домой. С помощью этого вахтового метода Пшонкову удалось сохранить всех своих деток – ни один из четырех не помер от голода; мало того: с красавицей мельниковой дочкой они за долгие зимние вечера настрогали еще одного на добрых поволжских хлебах. Жили, конечно, не так как раньше, при мельнице, но все-таки жили, набок ветром не опрокидывались. Советская власть в лице сельсовета смотрела на такое дело, конечно, неодобрительно, с большим подозрением, и постоянно требовала от Кузьмы определиться со своим отношением к колхозу, в котором тоже вечно не хватало рабочих рук. Но единоличный Пшонков вступать в колхоз не торопился, обосновывая каждый раз свое уклонение тем, что он должен подумать и сообразить. Коммунисты желали знать, почему он уезжает соображать куда-то на сторону и надолго, а не думает дома, при семье, но Кузьма плел в ответ что-то до того несусветное про брата деверя троюродной сестры, что коммунисты, заподозрив, что у него прогрессирует затмение мозгов, на время отставали с вопросами. Пшонков же сам давно уже понял, что в колхозе работать придется бесплатно, и поэтому коллективному социалистическому производству упорно предпочитал поволжское батрачество у «брата» Шульгаста. Так что по мартовской слякоти тридцать первого года, под покровом темноты, ускользнул Пшонков из родной деревни, чтобы снова отправиться на сельхозработы к Шульгасту: на очередной весенне-летне-осенний сезон. Однако, как известно – никакое счастье не длится вечно. Настал день, и однажды местные немецкие власти пришли раскулачивать уже крепкого Шульгаста. Кузьма как раз находился во дворе, а сам Шульгаст отсутствовал, когда подкатила комиссарская двуколка-гарантайка, и кожаный начальник спросил: «Шульгаст?», Кузьма кивнул и проговорил, как договорено было: «Брудер Шульгаст». Комиссар кивнул, записал что-то в свой бортовой журнал и выдал две повестки: одну на Петера Шульгаста, другую на Брудера Шульгаста. Если бы этот комиссар хорошо понимал по-русски, то Кузьма сумел бы ему разъяснить подробнее, что сам-то он вовсе не есть хозяин поместья Шульгаст, а просто-напросто приехавший погостить этот самый... близкий родственник по линии племянницы командира роты, от которой у Шульгаста (кажется, так оно и было на самом деле) родился ребенок перед Брусиловским прорывом, и вот Пшонков, якобы, как раз и представляет собой троюродного брата – «брудера!» – той самой племянницы... ну или что-то в этом роде: Кузя в этой хитрой схеме и сам сильно путался к великому раздражению настоящего Шульгаста. Возможно, если бы Кузьма Ильич Пшонков успел все это комиссару растолковать, то и было бы все иначе, но комиссар слушать «Брудера Шульгаста» не захотел, ему было очень некогда, и он умчался, умело хлестнув коня плетеным кнутиком.

Кузьма и впоследствии многократно пытался доказывать комиссии по раскулачиванию, что он – Кузьма Пшонков, а не Брудер Шульгаст, но документов у него все равно не было никаких, которые могли бы это подтвердить, Петер же, со своей стороны, продолжал настаивать, чтобы Кузя – его ближайший «брудер», а не батрак, в расчете отделаться малой кровью. Но пока они препирались о степени родства и формах трудового соучастия, список на раскулачивание был утвержден окончательно, и в них попали оба – и Петер Шульгаст, и «Брудер

Шульгаст». Местные власти отлично понимали, разумеется, что происходит, однако чекистская разнарядка требовала двоих, и вычеркнуть из списка чужого, русского Кузю – это означало вписать на его место кого-то из своих, немцев, так что местные резонно предпочли откупиться Кузей.

Вот таким вот невероятным образом Кузьма Ильич Пшонков из орловской губернии превратился по документам в поволжского кулака Брудера Шульгаста, и вместе с фронтовым товарищем своим и его семьей отправился на поселение в сибирскую тайгу, которая есть великий воспитатель всех эксплуататорских классов. По дороге Петер уговаривал безутешного Брудера, что все отлично, что они не в тюрьму едут, а просто в другое географическое место, где тоже коровы доятся и кукуруза расти может; и что Кузя пусть напишет своей семье, чтобы они приехали к нему, после чего все заживут еще лучше прежнего. И не надо будет отсутствовать по полгода, рискуя, что жена от рук отобьется. И как сглазил этот чертов Петер! Отбилась мельникова дочка от рук, не приехала жена к Пшонкову, потому что забрал ее себе красный командир, который со своими красноармейцами местность прочесывал в поисках поджигателей колхозной собственности, и в процессе этого прочесывания обнаружил славную бабу в одном из запустелых дворов. Очень уж хороша оказалась эта баба на вкус красного командира: до того хороша, что он ее к себе в Орел забрал, в казарму, вместе с пятью детишками, на полное довольствие. Очень хороший человек оказался. Вначале, по ходу постижения смысла письма, полученного в ответ на его запрос от свояка из родной деревни, Кузя заплакал, но следуя тексту дальше, просветлел вдруг лицом, и даже креститься стал с благодарной улыбкой в сторону Создателя. После этого письма у Кузьмы отлегло от сердца, он возрадовался и с удовольствием стал приживаться в Сибири, на берегу широченной реки, в роли немца-переселенца. Да и какая разница, в конце концов! Главное – уметь рыбу ловить! А Кузьма рыбу ловить умел. Кузьма вообще все умел делать руками. В скором времени они с настоящим Шульгастом устроили коптильню, и жизнь началась как бы сначала, виток за витком вынося работающих мужиков к берегам сытости. В каком-то смысле им даже повезло, если смотреть на вещи исторически. Потому что за счет раскулачивания они избежали очередного голода на Волге, разразившегося в тридцать втором – тридцать третьем годах. Они же ели копченую рыбку и в ус себе не дули. Не совсем так, конечно, но в сравнении с последующим ГУЛАГом то был рай земной.

Пшонков-Шульгаст, со своей стороны, подженился к сибирячке, у которой муж-охотник пропал в тайге. Та сибирячка, мощная Евдокия Антиповна, к подарку судьбы отнеслась вполне благосклонно: у ней у самой было четверо детей, и рыжий Кузьма Ильич Шульгаст вполне вписался в ее рыжее семейство, поскольку дети погибшего охотника тоже получились рыжими, так что со стороны подмена комплекта была на первый взгляд вообще незаметна. Тем более, что Кузьма был работающий и незлобивый. Да Евдокия Антиповна и злобивых не больно-то боялась: у ней у самой кулаки были как поршня на дизеле.

Однако, и этой сибирской идиллии положили конец Гитлер со Сталиным: сначала один из них развязал войну, а потом другой объявил немцев Поволжья предателями и отправил в трудармию. И снова Кузьме Ильичу не удалось отбиться. Ему сказали: «Десять лет ты был Брудер Шульгаст и сидел не квакал, засранец, а тут вдруг сказочку нам сочинить решил, что ты какой-то там Кузьма Пшонков? Э-э, нет, фашистское твое отродье, советскую власть на такой сырой мякине не проведешь!». И снова, как в «империалистическую», шагал Кузьма-Брудер Пшонков-Шульгаст в одной колонне со своим, теперь уже вечным фронтовым товарищем в сторону лагпункта. Одно хорошо: лагерь располагался неподалеку, верстах в восьмидесяти от села, так что дошли скоро, за трое суток и без излишних потерь личного состава: всего-навсего с шестью обмороженными, одного из которых охране пришлось пристрелить «при попытке к бегству», потому что тащить его на себе было некому.

Все это Брудер-Кузя с возмущением и часто рассказывал товарищам по «этажерке», обвиняя во всех своих несчастьях «родственника», который оставался при этом совершенно

безучастным и продолжал флегматично инспектировать свои веревочки. У Кузьмы-Шульгаста была интересная обвинительно-вопросительная манера речи: «Вот и получается, что он кругом виноватый! Правильно я говорю? Правильно!», или: «Немцы гражданское население, там где партизанов нету, даже пальцем не трогают! Правильно я говорю? Правильно!», или, угрожая направив палец на настоящего Шульгаста: «В самом Орле немцев нету, радио сообщало. Правильно я говорю? Правильно!». О своей семье, которая осталась в Орле, Кузьма не разговаривал никогда, зато часто вспоминал какого-то Гюнтера, возможно потому, что это почему-то злило Петера Шульгаста: это было единственное, что выводило настоящего Шульгаста из себя, и он шипел Кузьме: "Verpisstich".

– Ферписстих сам! Правильно я говорю? – радостно оживлялся Кузьма, и рассказывал окружающим, если таковые имелись рядом, как на войне взял в плен немца по имени Гюнтер, и как героически вел его по сильно пересеченной местности в расположение своей части, держа на мушке.

– Ну и чем дело кончилось? – язвительно не выдерживал Петер, – привел ты его, герой? – и переводил для русских слушателей: «Кирой – шопа с тирой!».

– Да, не привел! – взвизывался Кузя, потому что я – человек! Потому что я под настоящим Богом хожу, а не под вашим левосторонним! Потому что я его руки крестьянские разглядел, и пожалел его. Он мне как брат родной был те два дня, что мы скитались – не то что ты, эксплуататор чужого труда, хотя я и фамилию твою ношу поневоле, тьфу!..

– Та, та: кафари лутше честно, как ты саплутылся и к нэмци фышел со сфой Гюнтер.

– Да, вышли к немцам, – соглашался Кузьма, – и тогда уже Гюнтер, от его доброй души меня отпустил в ответ на мою доброту. Потому что он был настоящий немец, а не такой как ты, за Волгу сбежавший от своих, чтобы кровь сосать из русского народа! Правильно я говорю? Правильно!

Петер чернел лицом и возвращался к своим заплатам, поворачиваясь к «Брудеру» спиной. Конечно, ему было очень обидно все это слышать, но он уже привык к обидам и не давал им власти себя подмять. Он хотел выйти отсюда и сеять кукурузу дальше.

А Кузьма Пшонков-Шульгаст никаких особых целей перед собой не ставил в лагере: он просто работал, выполнял свою трудовую норму, и две, и даже три иной раз, и ценился бригадами на вес золота за неутомимость: он был из той неистребимой породы русских людей, которых, как Ивана-дурака из сказки, невозможно уморить. При этом никакими внешними признаками этой своей живучести, или прочими проявлениями былинной могучести Кузьма не обладал, скорей даже наоборот: был он компактный, сухо и неярко, без излишеств, свинченый, чуть кривоватый, как сосновый сучок, но сплошь жилистый и узловатый, скроенный для выживания в экстремальных условиях российской действительности: настоящий русский человек. И как настоящий русский человек любил он изобретать, сочинять, привирать, «блажить».

Общаться с товарищами по «этажерке» Аугусту доводилось нечасто. Он тогда работал на тракторе, по отдельному распорядку дня, а «братья» Шульгасты с Адиком – в бригаде у Трендилова, так что сводил заключенных вместе только лишь единый, драгоценный сон, жертвовать которым на досужую болтовню было бы равноценно кретинизму. Короткие обмены фразами утром, на побудке и вечером, перед отбоем: это было все. Основное общение приходилось на выходные дни, но и тогда каждый был максимально занят сам собою: стиркой, охотой на вшей, ремонтом одежды и обуви, написанием писем, если было куда писать, стрижкой и прочим серьезным бытом. И еще – дополнительным сном, собиранием сил для новой трудовой шестидневки. Именно в выходные дни читал Аугусту Адик свои стихи, а Кузьма Шульгаст донимал его своими выдумками.

Однажды Аугуст проснулся ночью оттого, что внизу происходила ссора. Кузьма толкал Петера и что-то бубнил ему, а тот посылал его к черту: «Ach, hör doch uff, tu Arsch: kei Teifel wirtlich wolla... – типа: «Кончай ныть, задница: какому дьяволу ты сдался?»».

Наутро встревоженная рыжая голова Кузьмы возникла рядом с просыпающейся головой Аугуста и начала придирается вздорным тоном:

– Слушай, Август: мне Гюнтер приснился посреди ночи. Он предсказал мне, что я буду на зоне деревья валить, и пилу подарил. И еще хотел мне подушку из сена всучить: для могилы, чтоб мне, значит, мягше лежалось. Я пилу бросил, послал его куды подальше да и проснулся. Кровососу своему сообщил, а тот и слушать не желает, кулачина: спать ему надо, понимаешь ли. А дело между тем серьезное. Смотри, Август, ежели правильно рассудить: это же мне такое прорицание с того света поступило, правильно? Как бы предупреждение от Гюнтера. Правильно я говорю? Правильно!

– Не верь, – отмахнулся от него полудремлющий еще Аугуст, – мне тоже маленькому нагадали, будто я в московском Кремле сидеть буду, а я вон где сижу: в лагере для врагов народа. – Уже соскакивая с нар, Аугуст вдруг озадачился:

– Подожди-ка, Кузя: какое же это предсказание, когда оно тебе только что сейчас приснилось? Тебе приснилось именно то, что с тобой на самом деле происходит, и никакого прорицания в этом нет и быть не может.

– Ишь ты, умник немецкий! До этого я и сам допер. А вот ты мне объясни тогда, соткуда об етом Гюнтеру тридцать лет назад известно было? Вот что есть неразгаданная загадка потусторонних сил природы! И опять же – подушка из сена. Ето как понимать?

– Это значит, что горох сегодня опять на воде будет и без мяса, – встрял Адик, и оказался прав. А неправ оказался Петер Шульгаст: черт явился-таки за Кузьмой, прикинувшись сверчком.

История со сверчком началась с того, что Кузьма однажды ночью растолкал терпеливого Аугуста и жалобно спросил его: «Слышишь?». – «Чего слышишь?», – ошарашенно спросил Аугуст, решив, что в бараке орудуют блатные: возможно, уже режут кого-то. Но слышались только вздохи, кишечные стоны, храп, скрип нар тут и там.

– Сверчок! – прошептал Кузьма, – домашний сверчок! У тебя жил дома сверчок, Август? У нас жили... как запоют!.. – он явно хлюпнул носом, всхлипнул...

– Нет никакого сверчка, это нары скрипят...

– Нет есть, я слышал: настоящий сверчок!

– Пошел к черту со своим сверчком...

Кузьма исчез из поля зрения, но судя по тому, что «этажерка» не шелохнулась, спать не лег: наверное отправился искать сверчка. Но это Аугуст мог лишь предположить: он мгновенно заснул опять. Через неделю «Брудер» достал уже всех вокруг со своим сверчком: он не спал ночами сам, и будил других, чтобы все могли убедиться, что он не врет. Зеки пообещали его отлупить и даже потрясли немножко как-то утром, в шеренге. Все единогласно решили, что «сверчок» завелся у Кузьмы в голове, и даже бригадир – Эдуард Трендилов, сын директора скотобойни (отца Трендилова расстреляли за инициативу назвать свое предприятие именем Сталина, а сына засунули в лагерь просто так – в порядке зачистки ненадежного семейного гнезда) – материл своего лучшего лесоруба почем зря, требуя, чтобы тот спал ночами, восстанавливал силы и не дурил, а не то он, дескать, вышибет ему его сверчка из башки самой большой кувалдой, которая отыщется в лагере. Кузьма обиделся на весь белый свет, и хотя перестал будить людей, но бродить ночами по бараку в поисках своего сверчка не прекратил. Так продолжалось еще недели две, и вот однажды поутру Кузьму Ильича Пшонкова обнаружили в барачном сортире, удавившегося веревкой от штанов, привязанной к крючку, выкраденному Кузей из тюфяковых запасов «эксплоататора» Шульгаста. Подлый сверчок таки доканал его.

Возможно, Кузьма действительно сошел с ума. А может быть, в такой форме проявилась его ностальгия по дому, по прожитой жизни, возврата в которую не будет, о чем, предположительно, и поведал ему этот самый сверчок, родившийся у него в перенапряженной голове бессонной ночью...

Конечно, это было потрясением для всех, особенно для Петера Шульгаста, который почернел лицом еще больше и еще глубже сосредоточился на своей тюфяковой коллекции, в которую вскоре добавились потерянная подкова и помятый отражатель от автомобильной фары, который Шульгаст по выходным дням пытался рихтовать специальными дощечками. Но скорбеть на зоне особенно некогда, жизнь и смерть здесь держатся рядышком, мертвым телом никого не удивишь и не напугаешь, так что Кузьму похоронили вместе с еще троими жмуриками, можно сказать, на бегу, и лишь спустя несколько недель сделали ему неслыханный подарок: изготовили и прикрепили над братской могилой фанерку на кресте, на которой химическим карандашом написали: «Кузьма Ильич Пшонков». Наконец-то Кузьма мог спать под собственным именем. Конечно, через месяц уже надпись полностью размыло дождями в единое фиолетовое пятно без смысла, но что такое месяц, или сто лет на ладони вечности? Ничто! Так какая тогда разница, спрашивается, что где написано и на какой срок? Наш срок – это вечность!.. Аугуст любил пофилософствовать и в лагере: это отвлекало от действительности.

Адик сочинил на смерть Кузьмы стихотворение, которое Аугуст запомнил:

Сухой, запечный педераст!
Слепой Гомер отхожих баков:
Какого хера будишь нас
Ты стрекотанием проклятым?

Почто смущаешь ты рабов?
Бередишь замершие души?
Шум невозвратных берегов
Нас в полночь заставляя слушать?

Нет, ты не друг сердечный нам:
Ты – негодяй! Ты – гад ползучий!
Ты – просто серый таракан
С костлявой задницей трескучей!

Таким вот образом молодой лагерный поэт Адольф Дорн отомстил сверчку за Кузьму Пшонкова. Но ведь не было же никакого сверчка! Тем более, что и профессор Адель, главное врачебное светило лагеря подтвердило, что такой симптом, как сухой треск в ухе хорошо известен, и что в этом случае требуется незамедлительное обращение к специалисту, ибо подобное потрескивание свидетельствует о нарушении мозгового кровообращения. Петер Шульгаст, правда, этому объяснению профессора ни на грош не поверил, указав на тот сугубый факт, что у Пшонкова отродясь, с самой юности не бывало никакого мозгового кровообращения в голове, а одни лишь сверчки разного размера копошились всю жизнь. Но Петер Шульгаст был пессимистом, и становился им все в большей степени: таких на зоне слушать – только настроение портить окончательно...

К сожалению, молодой сосед Аугуста по нарам, поэт Адольф Дорн ненадолго пережил Кузьму Пшонкова. Адик пропал без вести зимой этого же, сорок четвертого года, оставив после себя в памяти Аугуста еще один стих:

Полусожранный гнусом,
Дотяну до Победы,
И замру черным брусом,
Душу выпростав в небо.

Этот стих рождался Адиком на нарах в присутствии Аугуста, и Аугуст даже чуть было не стал его соавтором, потому что предложил Адике вместо «брусом» и «небо» вставить что-нибудь такое, чтобы было со «вкусом теплого хлеба», но поэт отказался, не хотел портить драматизм романтикой. Еще кто-то из лагерных советовал Адольфу, помнится, умерить патриотического пафоса в его произведении в пользу реализма, и заменить «до Победы» на «до обеда», но Адик и на это возразил, что это будет пошло. В окончательном варианте четверостишие звучало так:

Полусожранный гнусом,
Дотяну до сугробов,
И замру белым брусом,
Поручив душу Богу.

Оглядываясь назад, можно сказать, что от этого вот окончательного стихотворения Адольфа Дорна гораздо больше веяло предчувствием и прорицанием, чем от глупого сна Кузьмы Пшонкова. И шекспировского драматизма в исчезновении Адольфа Дорна было тоже гораздо больше, чем в грубой смерти Кузьмы. Потому что за этим исчезновением стояла любовь – вечная закваска всех трагедий.

Адик вырос в московской интеллигентной семье, немецкий папа его работал инженером на электроламповом заводе, русская мама – машинисткой в разных литературных редакциях. Так что Адик с ползункового возраста потреблял стихи, которые валялись повсюду, в том числе и на полу, пополам с манной кашей. Поэтому, едва научившись говорить, он уже решил, что и сам станет поэтом, когда вырастет. Первым опусом Адика было: «Какадий, какадий – ты куда чийя хадий?». Захваленный поцелуями, он решил закрепить эффект, и выдал продолжение: «Какадий, какадий: ты куда савоня хадий?». Когда взрослые попадали с хохоту, Адик решил, что будет не просто поэтом, а смешным поэтом, вроде клоуна, от которого все покатываются. Потому что Адик любил когда смеются. Он и сам смеялся легко и вольно – везде и всегда, даже на следствии впоследствии, и на зоне – тоже. Это очень к нему располагало. После школы Адольф поступил в учительский институт, на филологический факультет. Он писал забавные стишки, немножко печатался в студенческих сборниках, выступал в стенгазетах, и многие думали, что «Дорн» – это его псевдоним. Он боготворил поэтов серебряного века, люто ненавидел за что-то Владимира Маяковского, а погорел судьбою на Корнее Чуковском. В июне сорок первого года, на летней практике в пионерском лагере, работая в качестве вожатого, он собрал однажды в пионерской комнате детей младшего возраста и стал читать им «Муху-цокотуху», и «Айболита», и «Мойдодыра», и другие гениальные произведения Корнея Ивановича, в том числе и его «Тараканище». И тут произошла беда: когда Адольф, пугающе завывая, читал:

«...Вот и стал Таракан победителем, И лесов и полей повелителем.
Покорилися звери усатому.
(Чтоб ему провалиться, проклятому!)
А он между ними похаживает,

Золоченое брюхо поглаживает...»,

— при этом Адик сам и похаживал, и брюхо свое поглаживал:, —

«Принесите-ка мне, звери,
ваших детушек,
Я сегодня их за ужином
скушаю!...», —

в этот самый миг, угрожающе надвигаясь на юных слушателей, один из которых засмеялся, а другая заплакала, Адик запнулся о край ковровой дорожки и в стремительном падении сшиб с фанерной тумбы бюст Сталина, который упал на пол и разбился вдребезги, причем белый, мертвый нос лучшего друга пионеров закатился под стулья и сильно напугал еще одну девочку, вскочившую от этого страшного носа на свой стул и ставшую громко визжать. На этот истошный визг сбежался весь пионерлагерь, и уже на следующий день за гражданином Дорном приехали сосредоточенные люди на черной машине. Не нужно быть гигантом мысли, чтобы догадаться, какую статью стали шить Дорну: «Покорилися звери проклятому усатому» плюс наглядно сшибленный бюст – чтоб даже малым детям понятно было какой усатый имеется в виду: больших доказательств преднамеренной идеологической провокации педагогической направленности следователям и придумывать не нужно было: студент Дорн все сделал сам, от него теперь лишь требовалось подписать признание и получить свои «десять лет без права переписки», что означало «расстрел» для каждого знакомого с лексикой ГУЛАГа. Но Адик упорствовал в своей любви к Иосифу Виссарионовичу, и конечно, сознался бы в конце концов во всех своих преступных намерениях, не начнись вдруг война. Дело его затянулось, отложилось на фоне всеобщей растерянности первых дней войны, и возобновилось только в конце августа. И тут Адольфу повезло на фоне всех его невезений: ведь не все подряд были гадами под этим усталым, желтым солнцем. Даже в НКВД на сто подлецов приходился один нормальный человек, и именно такому, нормальному поручено было закрыть быстренько дело Дорна, чтоб не болталось под ногами: пусть подпишет признание, да и расстрелять его к чертовой матери. Следователь с первого захода разобрался во всем этом глупом деле, схватился за голову, выматерился длинной очередью в зарешеченную форточку, но выпустить Адольфа на свободу не решился, опасаясь за себя самого, такого вот чересчур уж сердобольного-мягкосердого, и потому несказанно обрадовался указу о немцах Поволжья от двадцать восьмого августа, как будто по заказу спущенному Дорну в помощь. Указ касался, правда, только немцев Поволжья, а не любых немцев вообще, но это были уже мелкие детали производства. Адик, которому следователь доходчиво разъяснил всю безысходность его ситуации и расстрельное положение дел, торопливо согласился быть немцем Поволжья, и был быстренько депортирован подальше от наступающих на Москву фашистов – прямым ходом в распоряжение лагуправления города Свободный. Причем, статуса «трудармеец» у него еще не было, он был ему присвоен позже, когда вышло соответствующее постановление о трудармии. А до тех пор он пилил лес просто так, безо всякого статуса, как вольный художник, хотя и под дулом автомата.

Финальную историю Адика Дорна Аугуст уже не застал: после того как он утопил трактор и отсидел в карцере, его переселили в другой барак, в «сарай», и он валил деревья на северных делянках, никак не соприкасаясь с бригадой Эдуарда Трендилова, которая крушила тайгу к востоку от лагпункта. Об исчезновении Адика Аугусту поведал однажды в студеный воскресный день Гердт Тарасюк, с которым Аугуст столкнулся в районе лагерной столовой. Гердт сменил тогда на нарах выбывшего из бригады Трендилова Кузю-Шульгаста. Сам Тарасюк со временем совершенно стерся из памяти Аугуста, только рассказ его про Адика Дорна остался.

Все началось со свинки, сказал Тарасюк. Адольф, которого ангел так долго берег, заболел свинкой, и профессор Адель посадил его в изолятор, чтобы он весь лагерь не поперезаражал. И вот однажды, когда Адик преодолел опасную фазу, но еще не готов был к схватке с лесом, профессор взял его собой в поселок, пополнять запасы медикаментов. Дело в том, что прогрессивный начальник лагеря Горецкий разрешал профессору менять у аптекаря Акимыча – потомка декабристов – народные снадобья, составляемые Акимычем из трав, собираемых для него в тайге опытными сибирскими бабками, на березовые дрова. С помощью этих эликсиров и мазей Адель компенсировал нехватку официальных фармацевтических медикаментов в лагере, что положительно отражалось на выполнении производственного плана. Так что раз в три-четыре месяца профессор с помощником помоложе из числа дистрофиков направлялся в такого рода приятные командировки на волю. Как раз такой момент и настал в середине июля, и выездным дистрофиком к восторгу своему был назначен Адик Дорн. Щедрой горкой насыпали дровец возок – звонких, ярких, уже колотых, запрягли гнедого коняшку и поехали в хорошем настроении, потому что чего уж там: небо синее, солнце светит, у старого Аделя суставы не болят, а Адик – тот и вовсе в первый раз за долгое время на воле очутился и мечтал теперь только об одном: чтобы какую-нибудь девушку встретить в деревне, или женщину молодую, поулыбаться ей, желательно на условиях взаимности, да и просто вспомнить как они вообще выглядят, эти удивительные существа – женщины. Короче, ехали вполне себе счастливые: профессор оттого, что жив еще, Адик – что вся жизнь еще впереди, если, конечно, повезет! Конек тоже шагало-пофыркивал, оглоблей болтал-дергал, смеялся над дураками: сами думают, что каждый из них коня умней, а сами коня и запрячь-то толком не умеют...

Поселок недалеко – семь километров всего по лесной дороге, а напрямки если, через болото, то и того короче получается – не больше четырех. Поехали, конечно, по дороге: по дороге быстрее. Приехали. Профессор пошел с декабристом Акимычем лобызаться, Рылеева с Пестелем и Муравьева-Апостола с Кюхельбеккером вспоминать, а Адик стал дрова сгружать, озираясь по сторонам. И тут к нему в больничный дворик вышла за свежими дровами Паша – старшая сестра, она же младшая, она же – нянька, она же – сестра-хозяйка, истопница и кухарка (больничка-то тьфу: на пять коек, и те пустые). Ну и жажнуло промежду ними, их молодой плотью, всеми наличными динамо-магнитными полюсами! У Паши муж на фронте, у Адика улыбка как у аполлона с настенного календаря, глаза синие, стихов полон рот. Короче, не успели Адель с Акимычем примочки и мази рассортировать по способам действия, как Адик в первый раз в жизни причастился женщиной – прямо в сарайке, на дровах. Ну и перевернулся у Адика с того момента весь космос вверх ногами и обмен веществ в организме дыбом стал: кровь в нижние конечности ударила, а гормоны наоборот – в голову шарахнули. И влюбился Адик в Пашу до полного, до кромешного затмения ума и изнеможения тела. Пашу тоже судить строго не надо. В Библии вообще сказано: «Не судите – да не судимы будете». Мужа Паше постылого навязали, до того постылого, что даже детишки у них не получались два года подряд, и когда с ее Мишки-охотника бронь сняли и на фронт отправили, то Паша даже грех на душу взяла – порадовалась втайне. Пашины братья своему другу-промысловику Мишке зарок дали, что сестра их Паша в строгой верности его с фронта ждать будет: «Воюй спокойно, Миша, – сказали они ему, – на твоём семейном фронте все будет путем: мы проследим, Миша!». Сама Паша то же самое мужу пообещала в ответ на Мишкино напутствие: «Ты гляди у меня!». А что она могла еще сказать мужу, уходящему на фронт? И вот целый год уже не было от Мишки ни привета, ни ответа. Может, его и в живых-то не было уже больше. Тошно жилось Паше, ох, тошно. И вдруг этот светлый принц на возу с березовыми дровами: как из довоенного кино свалился, как с экрана прыгнул: стройный, светлый, от улыбки солнечные зайчики по двору побежали. У Паши голова так и закружилась. А тут еще принц этот нечеловеческими словами заговорил, стихами волшебными:

Я Вас нашел во тьме веков,
Всмотритесь лучше: я Ваш витязь,
Я – светлый принц из Ваших снов,
Я к Вам вернулся: улыбнитесь!..

И глаза его сияли, и зубы сверкали, и лицо – пылало, и сердце Пашино обмерло, и остановилось, и снова застучало на частоте швейной свадебной машинки и конечно же, она улыбнулась, и даже засмеялась, и даже замахнулась на этого чудика из ее снов, и стала помогать ему носить поленья и укладывать их в сарайке, и вот само собой, от простого магнетического притяжения, не нами с вами придуманного, но созданного великой матушкой-природой и случилось с молодыми людьми в сарае то, что случилось...

Потрясенный, невменяемый, счастливо ошарашенный Адик ехал лежа на целебных вениках в полупустом возке обратно в лагерь, нежно обнимая банки-склянки, не видя дороги, не слыша старого Аделя, и лишь бормоча что-то восторженное, то в рифму, то без, заставляя профессора хмуриться все больше.

Вот с того дня и пошло все наперекосяк у Адика. Через неделю профессор выписал его, на следующий день после выписки Адик вышел в лес с бригадой и... сбежал. Семь километров туда, семь назад, час в поселке: к концу смены Адик снова был в отряде, но норму свою, конечно же, не выполнил. Это повторилось еще, и еще раз. Звено сначала покрывало его, ребята не сообщали Трендилову о болезни Адика, входили в бедственное положение отравленного любовью лесоруба. Но бесконечно ломать лишнюю норму, горбатиться за мартовского кота, у которого гон все не прекращается – кому ж охота? Трудармейцам надоело. Адика взяли за шиворот, пригрозили сдать его охране: отстрел при попытке к бегству еще никто не отменял по лагерю. Адику и это было пофиг. Тогда звеньевой пожаловался бригадиру. Трендилов дождался вечернего возвращения Адика со свидания, явился с бритвенно острым топором и велел Адику скинуть портки. Сын директора скотобойни был способен на любой безумный поступок, это все знали, и бригада вступилась за Адика: мол, когда-нибудь лагеря закончатся, и с чем тогда Адик на волю выйдет? У него ж больше ничего нету. Это ж единственное что у него есть! Лесорубы поручились за Адика, и Дорн, отделавшись ужасом, остался при том единственном, что у него есть. Больше недели Адик вкалывал как бешеный, покрывая недостачу кубов, а потом... сбежал снова. Его стали привязывать к дереву. Он выпутывался и сбегал. Его побили, вышибли ему два лучезарных зуба, надеясь, что уродство поможет ему преодолеть любовь, но Адику не помогало ничего. В звене решили, что Адика нужно либо убить, либо махнуть рукой и терпеть его, как кару божью, как перст судьбы, как дополнительное испытание, возлагаемое Господом на мучеников, которых он любит больше других. Но перст судьбы указал в конце концов на самого Адольфа Дорна: однажды он со свидания не вернулся. На вечерней переключке это вскрылось. Охрана забила тревогу: побег! Охране объяснили: «Никс побег. Поселок фарен. Там зухен, у Паша Агафонофф». Адика нашли на полдороге к лагерю, в грязи, с поломанными костями, и не сразу опознали его, поскольку лицо светлого принца было размолочено в синий монгольский блин. Произошел конфликт между Горецким и Аделем: начальник лагеря требовал расстрелять беглеца сразу, а профессор настаивал: только после излечения. Горецкий уступил эскулапу, отвечающему за здоровье лагерной нации.

Когда Адик научился шевелить губами, то рассказал, что его побили братья Паши, которые застали любовников «на месте преступления» по наводке соседки. Эти трое братьев были таежные охотники, имели бронь, добывали в лесу меха для фронта и придерживались старой веры со всеми ее суровыми заповедями, типа «не возжелай жену чужую». Эту последнюю заповедь они и пытались втемашить Адику механическим способом. Как потом оказалось – тоже безуспешно.

После того как Адель вернул несчастного любовника с того света, полковник Горецкий поменял вдруг гнев на милость, и предложил Адике честный выбор: десять лет за побег с переводом в Печлаг (Печерское лагуправление), или информационные услуги в пользу Хозяина с правом ежемесячных свиданий в поселке. За право свиданий со своей Пашей Адик согласился бы и Адольф Адольфычем стать – родным сыном кровопийцу Гитлеру – не то что стукачом какого-то там полковника Горецкого, поэтому он с восторгом принял предложение Хозяина, и даже поцеловал, уходя, рукав шинели Горецкого на вешалке. Вот до чего докатился Адик, дожираемый любовью: он готов был стать лагерным стукачиком. Правда, много насекают Адик не успел. Любовь, оказывается – это меч обоюдоострый, это змея-красавица, которая струсится нежно, да жалит насмерть.

Последний поход Адика в поселок, из которого он больше не вернулся, состоялся уже зимой, в трескучие морозы. И не братья убили Адика, нет: братья в это время гонялись за белками по дальним хребтам и увалам. А убила Адика сама Паша: она не открыла Адике дверь. Она кричала ему, чтобы он уходил, она кричала, что получила письмо от Михаила; что Михаил остался без ног и едет домой. Шарик был в будке, Паша была в доме, Адик был во дворе, соседка (та, что сдала Адика братьям) тоже была за забором от жалости ко всем пятерым, включая сюда и безногого Михаила, и себя самую: всех ей было жалко – скорбных жертв войны. Эта же соседка свидетельствовала потом, что Адик, качаясь и падая, отправился по зимней дороге в сторону лагеря, но потом резко свернул в лес. Соседка не удивилась: она решила, что Пашкин хахаль хочет скоротить путь. А почему бы и нет, ежели болото замерзши?..

И с тех пор Адика больше не видели. Ни зимой, ни весной, ни летом, ни много лет спустя. Как прилетел светлый принц на землю, так и испарился без следа.

Так что не только на фронте – и в героическом тылу тоже пропадали без вести люди во время суровой, безжалостной войны.

Долго еще свербило сердце Аугуста по Адике: всю жизнь, в общем-то, точило потихоньку. И не только потому, что открытостью и искренностью своей, и вспышками белозубых улыбок напоминал ему Адик брата Вальтера, но и потому еще, что было что-то несимметричное в истории любви и гибели Адика, что-то абсолютно неправильное: как будто Любовь и Счастье – это не два крыла единой птицы жизни, но два непримиримых врага, битва между которыми рождает смерть. Да, именно так: «рождает смерть»: в этом абсурде все противоречие...

Несколько месяцев позже, уже работая в бригаде Фишера, Аугуст проснулся однажды среди ночи в новом бараке, то есть не в новом, разумеется, а просто в другом – в фишеровском, «плацкартном». Возможно, что проснулся он от холода (бригада Фишера квартировала не в наилучших барачных условиях), но может быть и по другой причине, а именно оттого, что приснился ему Кузьма, который дул ему в ухо и шептал: «Ну, слушай давай, Аугуст, слушай, слушай, не спи: сверчок это, или не сверчок, я тебя спрашиваю? Конечно сверчок! Правильно я говорю? Правильно! А ты мне еще не верил, дурачок!». И вот Аугуст проснулся от этого шепота и не сразу сообразил, где находится. Потому что в бараке висела глухая тишина, как под водой: атмосфера совершенно неправдоподобная. Но ведь даже планеты выстраиваются время от времени в одну прямую линию, которая называется парадом планет; вот и тут, в бараке возник, видимо такой редкий миг, когда никто не стонал, не кашлял, не храпел и не ворочался, когда тишина выстроилась в тот самый парад, и в этой редчайшей ночной паузе вдруг явственно послышалась Аугусту печальная суходревесная песня-вибрация: как будто где-то в неведомом пространстве деревянный дятел дернул за мелодичную щепочку внутри дупла, и она запела круглой, затихающей дробью, с обреченно падающей интонацией потерявшей надежду души, ни о чем уже не сожалеющей, а лишь в форме одинокой баллады повест-

вующей безразличному космосу о своей беде. Пот прошиб Аугуста, холод залил ему брюшную полость. Это был сверчок! Самый настоящий сверчок! Кузьма не врал! Появился импульс вскочить и пойти на поиски источника звука, и Аугуст уже зашевелился было, чтобы это сделать, спуститься с нар, двинуться на поиски сверчка. Но вот кто-то чихнул, и заскрипели доски, и кто-то тупо ударился головой и ругнулся во сне, а кто-то закричал, и другой застонал, и еще один пропел кишкой, и барак наполнился привычными производственными звуками спящей казармы. И печальный сверчок заглох, забитый живыми звуками. Постепенно спазм отпустил напряженные мышцы Аугуста, защитные силы организма взяли верх над сиюминутным умопомрачением, и он опять уснул. Однако, несколько последующих ночей просыпался внезапно снова и вслушивался в спящий мир барака. Но «парад тишины» больше не повторялся: условия для одинокой песни сверчка в ночи не возникали. В самом ухе у Аугуста, по Аделю, тоже ничего не трещало: мозговое кровообращение было, следовательно, в полном порядке. Психика восстановилась, Аугуст перестал просыпаться и опять, если использовать литературный штамп, проверенный тысячелетиями – спал ночами как убитый. Потому что силы были ему нужны для того, чтобы выжить. И это знала каждая клетка его измученного тела, и все они, клетки его тела, были заодно в этом деле, и все они знали ответ на главный вопрос философии, сформулированный Шекспиром: «Быть или не быть?». Клетки были однозначно за «Быть»!

* * *

Настоящее, полноценное – имеется в виду совершаемое в режиме «на убой» – трудовое служение Аугуста родине в лагере «Свободный» началось, по существу, лишь с лесоповала в составе бригады Фишера, в которую он попал после того, как утопил трактор и отсидел за это в яме.

В этом лагпункте действовали такие правила: бригада отвечала за свой, побригадный план понедельно, но и подушно. Это означало вот что: выполнившие за неделю свой личный план зеки получали полную пайку всю следующую неделю, а невыполнившие – урезанную. Баня же полагалась бригаде интегрально, то есть при условии выполнения бригадой назначенного ей недельного плана в целом. Таким образом, выработанный личный план еще не означал для передовика баню, и талоны в лагерный магазин, и прочие мелкие льготы: все зависело от недельной результативности всей бригады. Замысел создателей этих правил состоял в том, чтобы стимулировать слабаков и лентяев внутри бригады к соревновательности с помощью не одной только государственной каши, но еще и оперативного, воспитующего сапога рядом стоящего товарища. Но «нерадивые», на самом деле – это ведь были не злостные тунеядцы вовсе, но доходяги, для которых непосильным трудом являлось даже само перемещение собственных тел по поверхности земли. Так что в реальности никакой такой соревновательности не получалось: от воспитующего сапога своего товарища дистрофик мог только упасть и расшибиться, но дерево спилить – ни за что. Установленный порядок порождал разве что ненависть к слабым внутри звеньев: ведь помимо всякого рода «резервов» и «блатных отчислений», здоровым зекам требовалось обеспечивать норму и за доходяг; им-то, слабым, никто норму урезать не собирался из-за того только факта, что они – дистрофики; а если б вдруг взялись урезать, то в доходяги побежали бы записываться все до одного: дураков нема потому что... Тем не менее, ввиду относительно большой власти бригадиров в вопросах учета кубов и распределения живой силы по звеньям, замысел создателей все-таки срабатывал внутри этой схемы: бригадиры могли комплектовать свои батальоны и расставлять звенья по участкам таким образом, чтобы звенья свои нормы кое-как вытягивали, используя доходяг на более легких, но так или иначе необходимых работах: обрубке сучьев, подготовке хлыстов под трелевку, сжиганию мусора, обеспечению подъезда для тракторов, разогреванию обеда и так далее. А чтобы передовикам не обидно было вкалывать за слабым, пайки доходягам бригадиры могли из педаго-

гических соображений оставлять и урезанными – даже при выполнении бригадой недельной нормы, и это, конечно же, совершенно не способствовало восстановлению доходяг до полноценных амбалов, а наоборот, постепенно и неуклонно сводило слабых в могилу. Но все эти подробности оставались уже на усмотрение бригадира. От бригадиров – что в предыдущем лагере, что в «Свободном» – зависела жизнь каждого трудармейца: это был факт. Имелись бригадиры, которые, подобно Краузе, грабили бригады в свою шкурную пользу, но были и другие, типа Буглаева из «русского барака», который наоборот – гулял такой слух – слабакам своим усиленную пайку обеспечивает, чтобы повысить их трудовой КПД.

Что касается Альфреда Фишера, к которому угодил Аугуст после трактора, то это был бригадир так себе – как и предупреждали товарищи по «этажерке» из бригады Трендилова. Фишер был получше Краузе из предыдущего лагеря, но много хуже Нагеля. Обеспечив прежде всего выполнение своей личной нормы, о бригаде Фишер заботился уже во вторую очередь. Его забота состояла главным образом в том, что он оценивал по утрам кто как передвигается в его бригаде, и прикидывал сколько из кого можно будет сегодня выжать. Немного сортировал, немного комбинировал. В общем, заботой все это считаться могло, но только больно уж шкурной была такая забота, рассчитанная на ближайшую перспективу и потому – ненадежная. С учетчиками и начальством Фишер договариваться как-то умел, так что деланки доставались бригаде не самые безнадежные: хотя бы это было Фишеру в плюс. Но главными плюсами для выживания были в «Свободном» все же улучшенные – и качественно и количественно – пайки. К тому же и лес был тут ближе к лагерю и добротней, чем на прежней зоне, так что даже при Фишере был у Аугуста шанс выжить, если Бог даст не заболеть тяжело, или сильно не покалечиться в лесу. Хотя и заболевали, и надрывались, и калечились трудармейцы у Фишера довольно часто, так что предупреждение трендиловцев о неблагоприятности бригады Фишера имело все основания оказаться правдой. Во всяком случае, первый опыт соприкосновения Аугуста с новым этапом своей жизни был раздражающим.

В бараке у Фишера к Аугусту, еще не успевшему осмотреться и прощупать свой тюфяк на трехэтажных нарах, бесшумно подошел человек с треугольным лицом, сухо представился «Фукс» и спросил, не является ли Аугуст членом партии, или хотя бы комсомольцем. Изумленный таким экзотическим вопросом Аугуст ответил, что нет, не является. Фукс хотел знать почему. Аугуст в ответ хотел знать какое тому дело. Фукс ответил, что он – коммунист и инструктор по политработе в их бараке, и что от него многое будет зависеть в судьбе Аугуста. Аугуст решил, что этот тип его просто разыгрывает: какой еще может быть коммунист среди зеков, депортированных немцев, трудармейских рабов. Поэтому Аугуст вежливо предложил странному человеку: «Вюрдест ду битте вайтер цум тойфель марширен, майн либер фройнд!». Посланный Аугустом к черту партийный активист Фукс не отстал от него, однако, а наоборот – прилип к Бауэру как банный лист к заднице: «Почему не хочешь вступать? Это подозрительно. Ты против Советской власти?».

– Нет, я не против. Я – за. Дай пройти.

– Ты должен хорошо подумать. Мы здесь – сила. Партия – везде сила. Мы не каждого принимаем, учти. Тебе оказывается большая честь. К нам многие просятся. У нас есть даже члены из других бараков. Вот товарищ Рупп, например, из воровского барака – он тоже член нашей партиячейки...

(Под «товарищем Руппом» подразумевался блатной по кличке «Рупь»: вор-домушник, убивший, подобно Родиону Раскольникову старушку, но в отличие от последнего – совершенно безыдейно убивший, безо всяких сложных философий, а потому лишь, что старушка застукала вора, погруженного по локти в ее комод, и от неожиданности подняла крик. От взаимной неожиданности Рупь ее и убил оловянной керосиновой лампой по голове. По запаху керосина его и задержали вскорости. То, что Рупь попал на зону с политической, а не с уголовной статьей

было чистой иронией судьбы: оказалось, что старушка состояла в молодости членом какого-то болгарского интернационала и собственноручно печатала антиправительственные листовки. Одна такая, дорогая сердцу старушки листовка обнаружилась, вместе со стеклянными драгоценностями и двумя золотыми царскими червонцами, отложенными интернационалисткой на ремонт зубных протезов, в ее сумочке, украденной Рупем – тоже изрядно залитой керосином: неопровержимой улике следствия. Этого оказалось достаточно, чтобы Рупя долго допрашивали и пытали, выколачивая из него информацию в какой конкретно типографии они со старухой печатают листовки. После того как Рупь, в обмен на обещание легкой статьи сознался, что они со старухой печатали листовки в городе Глазго (о котором Рупь и понятия не имел где такой город находится и как правильно пишется его название), то его осудили «за политику» по статье пятьдесят восьмой, пункт шесть, и он попал на «объединенную» зону в «Свободный», ставший затем трудармейским лагерем. Жил Рупь на зоне в одном бараке с урками, разумеется. Это был единственный «политический» в лагере, который был своим в доску у блатных)...

– ... И я должен тебе сказать, геноссе Бауэр, что товарищ Рупп очень активный партиец! На него равняются многие!..

Но и тут, как скоро выяснилось, Фукс брехал как Троцкий на параде: никто на Рупя не равнялся; нормальные зеки обходили его сторонкой, чтоб не связываться, и помалкивали, когда уголовный урка с наглым видом вождя мирового пролетариата изрекал всякую чушь. Такое отстраненно-молчаливое отношение трудармейцев к блатному партийцу парторг Фукс интерпретировал как естественное почтение народных масс к члену партии. На самом деле никакого почтения ко всей этой шушере ни у кого и в помине не было; да и никаких партбилетов, само собой разумеется, барачные коммунисты не имели, а вместо них имелись у них красные картонки, вырезанные лично Фуксом из коробок от погон в лагерном управлении, на которых заглавными буквами Фукс напечатал: «ВРЕМЕННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ КАНДИДАТА В ЧЛЕНЫ КПСС по бараку № ____» (номер барака вносился рукой).

Кстати сказать, Рупь вел себя на этих «партсобраниях», которые проводились Фуксом тут же, в бараке, действительно крайне шумно, и всегда выступал вне повестки дня и по узкотематическим вопросам типа: «О повышении лагерных норм питания для членов партии», или «О недопустимости сажания членов партии в шизо».

Все эти подробности Аугуст Бауэр узнал от трудармейцев позже, а тогда, при первой встрече с Фуксом Аугуст, уже изрядно хлебнувший из горькой чаши лагерной мудрости, отшатнулся от партийного активиста чисто инстинктивно, не желая никуда вляпываться, от чего может осложниться и без того тяжелое лагерное существование бойца ГУЛАГа.

Со временем Аугуст узнал также, что Фукс работает на «кума» и по натуре большая сволочь; в лагерях такие либо долго не живут, либо всех переживают. В трудармии у них был шанс, потому что трудармейцы на ЭТО шли редко: себе дороже. «Он всех норовит в партию принять, – сообщили Аугусту зеки, – потому что от роста партгруппы зависит его жизнь: пока показатели растут, его в лес не посылают, и он дневалит по бараку, шарит по матрацам и тумбочкам и «стучит» потом начальству. Чтоб он сдох!».

Коммунистическая партия, таким образом – и это было истинным откровением для Аугуста – желала быть в первых рядах даже в стане врагов народа.

Администрация лагеря поощряла активистов типа Фукса: стремление зеков в комсомол, или в кандидаты ВКПб расценивалось как рост самосознания и положительный результат воспитательного воздействия трудовых лагерей на заблудшее сознание. Правда, в партию на зонах на самом деле не принимали – только в такие вот, «картонные кандидаты». Так «партийные» зеки и ходили в «картонных кандидатах» до самого сдоха: пока бревном не задавит, или мор не приберет. Никаких дополнительных пайков им за «членство» не полагалось. За сексотство разве что, которое к их партийной принадлежности как бы по определению прилагалось. Непо-

нятно только, какого черта насквозь уголовный Рупь повелся с ними, с этой идейно-прибабахнутой, околопартийной публикой. Не иначе – что-то вынюхивал в трудармейских бараках по заданию своего блатного смотрящего, или самого Хозяина – начальника лагеря.

В скором времени Аугуст треугольную рожу Фукса, треугольный подбородочек его, треугольную нижнюю губу, треугольные бровки над крысиными глазками и треугольные синие уши уже видеть не мог – особенно после леса, когда в глазах плавают красные круги и все вокруг покачивается как на тонущей палубе. Однако, Аугуст долго воздерживался идти на открытый конфликт с этим опасным крысенышем, и каждый раз отвечал одно и то же: «Давай завтра поговорим, Клаус», ложился на нары и закрывал глаза, стараясь отключиться и слыша сквозь шум в ушах невнятные марксистские наставления, которые недовольный Фукс продолжал вталкивать ему в ухо, стоя рядом.

Но однажды Аугуст все же не сдержался и накричал на партинструктора: «Лучше бы ты, как настоящий коммунист, лес валил со всеми и там свой коммунистический пример показывал, а не тут, языком, в теплом бараке!». Зеки сдержано захихикали. Это было ошибкой со стороны Аугуста. Фукс отстал от него, но стал врагом: ненавидящий взгляд Фукса Аугуст ощущал на себе постоянно, и это его раздражало – как от присутствия муравья на коже, когда руки заняты и согнать насекомое невозможно.

Возможно, постепенно, под руководством бригадира Фишера Аугуст и надорвался бы, и дошел бы до дистрофии, и сгинул в лесах, «ушел под корни» – как тут мрачно шутили, если бы не произошла одна трагедия лагерного масштаба, которая многих погубила, а Аугуста, наоборот – спасла.

В лагере была столовая. Столовой заправлял зек из «социально чуждых» – львовский еврей с чешской фамилией Заечек. Когда русские отбили у поляков Львов перед войной, в тридцать девятом году, Заечка арестовали за то, что он сочувствовал ОУНовцам, работал шеф-поваром в их излюбленном ресторане «Галичина» и даже получил в подарок именные часы от самого Степана Бандеры. Заечек был мелкий человечек, похожий на барсука и лицом и фигурой, только глаза у него были, не в масть ко всему остальному круглые, синие и выпуклые. Однако, эти синие глаза были не добрыми и наивными, какими должны бы быть круглые синие глаза, но стеклянные, неживые, немигающие. Вообще, Заечек, или «Зайчик» считался на зоне чокнутым, потому что ни с кем не разговаривал, не корешевал, и вообще в контакт с другими зеками вступал минимально – только по необходимости. Его опекали урки, потому что, как и в ерофеевском лагере, много блатных состояло при кухне. Зайчика уголовные не обижали, во-первых потому, что его берегло начальство, и во-вторых потому, что от Заечка много чего зависело в плане продуктов питания и доступа к продовольственному складу. Но основной гарантией жизни Зайчика была, вне всяких сомнений, личная длань полковника Горецкого, простертая над головой этого бесценного повара. Ведь большевики и чекисты – тощие выходцы из народных низов – всегда любили пожрать не меньше, чем тучные царские вельможи, так что хорошему повару теплое место гарантировано при любом режиме – хоть коммунистическом, хоть фашистском или древнегреческом – в том числе и в концентрационных лагерях или, по-русски говоря: на зоне. Аграрий Леонтьевич Горецкий исключением не был: он любил покушать сытно и разнообразно сам, и угостить влиятельных друзей с пользой для дела. А Заечек умел творить с продуктами чудеса. Ходил по лагерю такой слух, что однажды Зайчик чуть не влип: накормил высокую комиссию во главе с генералом неким фантастическим на вкус суффле-муффле из крысиных ляжек, вымоченных в грибном отваре и запеченных в горохе. Некий опытный тюремный генерал якобы что-то заподозрил и потребовал показать ему что это он ест такое: приказал представить лапки исходных тушек. Уголовники, собственноручно ловившие крыс для званого обеда, пришли в ужас: сейчас Зайчику придет кирдык, и им заодно. Но ничего подобного: Зайчик принес и показал генералу несколько разделанных тушек лесных

белочек вместе с хвостами. Белочки прошли на ура. Так что Зайчик был всегда и ко всему готов. Сколько раз хотели его у Горецкого отобрать и даже купить, но полковник категорически не отдавал своего чудо-повара: Заечек был не просто ресторанным шефом – он был политикой, он был дипломатией, он был козырной картой Горецкого в его интрижных схемах. Да, шла война. Ну и что? Ведь праздники, дни рождения и юбилеи всякого рода случаются в жизни каждого, причем периодически – независимо от войн и катаклизмов, а чем можно порадовать начальника в тайге больше, чем вкусной едой? Да ничем! Разве что едой еще более вкусной. И ту и другую – и вкусную, и еще более вкусную как раз и умел готовить звездный повар Заечек.

Так что Зайчик в лагерной иерархии котировался очень высоко. Конечно, он оставался при этом, как и все остальные, простым рабом системы, и должен был пахать с четырех утра и до одиннадцати ночи на ниве кормежки зеков. Из его котлов заключенные получали ежедневно, в порядке очереди, побригадно, горячий завтрак, затем обед, который в рабочие дни доставлялся охраной и уголовниками прямо на делянки, и ужин – так себе, полудохлый. Изысканных, генеральских «суффле-муффле» Зайчик для зеков, разумеется, не готовил. Каша на воде, чаще всего гороховая, да жидкая баланда с подозрительными мясообразными образованиями, или, опять же, гороховое пюре с рыбьими костями: это было хроническое меню для трудармейцев. И слишком много творчества и старания Заечек в эти свои лагерные меню не закладывал – ни в плане вкуса, ни цвета, ни консистенции блюд. Он кормил зеков по лаконичному принципу: «Наклат калориев – съел – освободил место: не ресторан». Многие зеки улавливали во взгляде Заечека – при всей его стеклянности – большую ненависть к каждому отдельно и ко всем вместе, что, впрочем, в условиях ГУЛАГа совершенно обычное явление. Об этом замороженном, ледяном взгляде Зайчика очевидцы свидетельствовали как в «русском» бараке (возможно, Зайчик ассоциировал русских зеков по признаку русского языка с теми солдатами Красной армии, которые брали Львов, а затем утащили его, дорогого, всеми любимого Заечека в холодную Сибирь, где посадили на лагерную цепь и мучали бесконечной гороховой кашей), так и в «немецких» (тут долго непонятно было – за что может ненавидеть Зайчик немцев-трудармейцев, язык которых он хорошо понимал по своему еврейско-европейскому прошлому, но потом просочился слух, что гитлеровцы, выбившие русских из Львова еще в июне сорок первого года, заперли семью Заечека в еврейское гетто, и вскоре всех уничтожили: расстреляли и свалили сотни людей в одну яму. Не иначе – Зайчик путал теперь этих, «русских» немцев с теми, фашистскими – тем более что про поволжских так и говорили, что это одно и то же: друзья Гитлера; а может быть, понятие «русские немцы» в барсучьей голове львовского повара вообще клубилось гремучей смесью всех ужасов ада. Но мало ли что мерцало там в башке у прибабахнутого повара – «Зайчика из города Львов» – как шутил про него бригадир Буглаев). Но, честно говоря, зекам было с высокого дуба наплевать – если не сказать хуже – на злобные настроения какого-то там несчастного Зайчика; тут, на зоне все были одинаковыми, бесправными гулаговыми зайчиками, приставленными пилить лес от рассвета до изнеможения, и одинаково несчастными – тоже. И не засел бы этот Зайчик в трудармейской памяти Аугуста, если бы не та беда, которая обрушилась на бригаду Фишера по вине повара Заечека, и которая повлияла на всю дальнейшую судьбу Аугуста.

Действующими лицами той трагедии были: полковник Горецкий, сам Зайчик, его новые сапоги плюс неизвестные грабители в ночи. Все началось с сапог. После празднования тридцатипятилетия супруги Горецкого Аглаи Эдуардовны, которое отмечалось Аграрием Леонтьевичем в Свободном на очень широкую для военного времени ногу, (лагерный шеф-повар был, конечно же, главным волшебником праздника и, прошел слух, превзошел там сам себя), Горецкий подарил повару свои хромовые сапоги: очень уж мечтал о них Зайчик, наверное, он представлял себя в них главным адмиралом всех кастрюльных флотов мира. Монархи прошлых, романтических веков иной раз жаловали своих вассалов за добрую службу горностаевой шубой с царского плеча; полковник же Горецкий из социалистической, лагерной действительности

одарил своего Зайчика бэушными сапогами в комплекте с поношенными галифе, в каждой штанине которых могло бы спрятаться в случае необходимости по три таких Зайчика. Галифе – черт с ними, на задку сквозь них можно было видеть зеленую тайгу в мелкую клеточку, но вот в сапоги Зайчик вцепился мертвой хваткой. Надев их, Зайчик даже заулыбался, напугав этим зеков, не понимающих что это творится с его барсучьей рожей, растянутой по горизонтали. Уголовники сообщали, что Зайчик в сапогах этих спит, и даже ног не моет, чтоб сапоги не убежали. А сапоги, будучи Зайчику велики размеров на восемь соскочили бы с его ног запросто, не будь приняты меры против этого: старый вор Лавруша, который мышей уже не ловил и котировался лишь за вязание носков крючком, изготовил Зайчику толстые носки из собачьей шерсти, а лагерный портной Троцкер сшил ему трехслойные чулки из добротного верблюжьего одеяла, так что сапоги стали Зайчику более или менее впору. В шикарно, до северного сияния начищенных хромовых сапогах своих любил он красоваться перед прочей никчемной лагерной швалью, причем везде – даже в сортире: «дальняке» по-лагерному. Аугусту запало в память, как про новые сапоги повара впервые принес весть кто-то из блатных зеков: «Каная вчера с дальняка, зырю: Зайчик из новых прохарей торчит! Стоит по стойке «смирно», как кенгуру на параде. Ну просто усратья и не жить! Я как шел так и обоссался – бя буду! «Дай поносить», – говорю ему. Ты что! – и не моргнул даже глазом в мою тухлую сторону: ну абсолютный царь Додон на партийной трибуне, а не сраный Зайчик наш!»...

Вытарчивающий из новых сапог Зайчик, с голенищами, растопыренными выше колен как у полководца Наполеона на портретах, действительно выглядел комично: и сравнение с кенгуру тоже оказалось довольно точным, особенно когда Зайчик стоял – пятки вместе, носки врозь – в клеенчатом фартуке с широким карманом на животе, зацепившись за него большими пальцами рук и «водя жалом» туда-сюда: осматриваясь, поводя по сторонам настороженной, барсучьей головой. При этом выражение лица у него действительно было неприступным, как будто – шутили зеки – в приложение к хромовым сапогам он получил место на беломраморном постаменте у входа в рай.

Конечно, валить лес в таких сапогах было бы и неудобно и неэстетично (чего Зайчику и не грозило, понятное дело), но по всеобщему мнению зеков выстоять в таких клевых сапогах без обморожения ног на сорокоградусном морозе при условии собачьих носок и верблюжьих чулок внутри, можно было бы на спор не менее суток; и уж в любом случае легко обогнуть земной шар через северный полюс – желательно в сторону пустыни, где нет ни одного дерева... Хлипкий Зайчик такое путешествие, конечно же, нипочем не осилит, забуксует: он в них только стоять умеет, – прикидывали зеки, – а вот настоящему бойцу, которому вздумалось бы бежать из сталинских лагерей на другую половину Вселенной, столь ценная обувь очень даже пригодилась бы. Короче говоря: зеки Зайчику завидовали за его сапоги, и это было вполне понятно: добрая половина лесорубов передвигалась по земле на хронически, до костей и глубже обмороженных ногах; хорошая обувь считалась на зоне символом счастья в истинном его проявлении.

И вдруг все рухнуло для Зайчика. С ним стряслась беда. Ночью, когда Зайчик, проверив замки на продовольственном складе и наличие охраны рядом с замками, возвращался в свою персональную поварскую каптерку, на него между бараками напали злоумышленники, лица которых были замотаны тряпками; они схватили Зайчика за руки и оглушили ударом по голове. Когда повар очнулся, хромовых сапог у него на ногах уже не было.

Наутро немецкий барак подняли по тревоге еще задолго до побудки. Охрана провела тотальный шмон, но сапог не нашли. Немцы громко роптали: «Почему у нас? Немцы не воруют! Ищите у блатных, у воров». Однако, Зайчик утверждал, что перед тем как его оглушить, один из нападавших что-то сказал по-немецки типа: «зайчик капут». – «Вот ведь думм-копф, придурок! – возмущались немцы, – да такие слова любой блатной может произнести

для отвода ушей: и про Гитлера, про Сталина, и про Зайчика, и про любого другого зека: про каждого на свете».

В общем, хромовые сапоги не нашли, и почерневший от горя Зайчик снова переобулся в стандартные лагерные говнодавы, преобразившись обратно из «царя Додона» в «сраного зайчика» – а именно в серую гулаговскую мышь, неотличимую на вид от всех других лагерных мышей. Главный шеф-повар лагеря «Свободный» Заечек с того дня совершенно пал духом, потух глазами и даже разговаривать прекратил совсем. Блатные беспокоились за его физическое здоровье и советовали кушать сливочное масло. Но Зайчика рвало и маслом: наверное, у него открылась язва желудка; так, во всяком случае, утверждал профессор Адель, которому можно было верить. Зеки, правда, по этому поводу особенно не грустили: язва так язва. Лишь бы кашу варил исправно и в суп не плевал своей язвой; а не сможет этот язвенник варить дальше – ну и ладно: другой какой-нибудь найдется. Что называется: свято место пусто не бывает. Никто бедного Зайчика не жалел, более того: стали зеки над ним обидно насмехаться. Особенно стало это агрессивное отношение проявляться ближе к концу лета. Пока свирепствовал гнус, лесорубам было не до зайчиков в трамвайчиках, но вот пришел август, жара отпустила, мошка пропала, зекам стало житья веселей и, главное, пришла пора запасать сил на зиму, готовиться к прыжку сквозь белую смерть. А тут вдруг возьми да и поползи рацион питания в сторону ухудшения: белковая составляющая, которая есть – как объяснил профессор Адель – основа мышечной активности, ушла в ноль. Ясное дело, что такого рода безобразия прежде всего и всегда связываются в воображении голодных людей с образом проклятого повара. «Заяц мясо либо сам сожрал, либо блатным своим сбагрил», – были уверены лесорубы. Не имея других надежных способов воздействия на Зайчика, зеки стали донимать его, убогого, безсапожного, дразнить, подначивать, обзывать, а кто-то веселый даже сшил ему ботфорты с отворотами из лопухов, и пытался вручить под дружный хохот зеков «от имени одной влюбленной лесной дамы, которая плачет, что ты без сапог ходишь». Зайчик лопухи не взял, проигнорировал их и взглядом и позой, но резко повернулся и ушел к своим бакам и к своим блатным помощникам, не проронив ни слова даже там, под их защитой.

И вот настало то самое злополучное воскресенье, из которого бригада Фишера в полном составе отправилась через несколько дней заселять лагерное кладбище, а для первоначально пострадавшего в этой истории Аугуста все закончилось благополучно.

Тот день был выходной, и зеки наслаждались: зализывали раны от предыдущей трудовой недели и собирали силы для следующей. С утра, после завтрака каждый был занят своим личным делом: одни меняли повязки и примочки, или стригли друг друга; кому положено – готовились к бане; иные выкуривали за бараком едким дымом в железной бочке вшей из одежды; кто-то стирал, кто-то брился обломком безопасного лезвия, или ножом, изготовленным урками в лагерной мастерской, некоторые играли в самодельное домино или в карты, другие писали письма, а были и такие, которые сидели и читали газету «Правда». Эту газету раздавал под роспись (чтобы не скурили, или не пустили на подтирку) политактивный парторг Фукс. В этот день экземпляров газеты было особенно много: вечером Фукс готовился провести отчетно-выборное собрание с повесткой дня «О новых членах». Это объявление он прикрепил к дверям барака и стоял рядом, обращая внимание каждого на важное предстоящее мероприятие. Аугуста, проходящего мимо, Фукс тоже схватил за рукав и прошипел: «Это твой последний шанс, Аугуст!». Аугуст вырвался и огрызнулся: «Это у тебя последний шанс, а не у меня...». Аугуст ляпнул эти слова недаром: по бараку в последнее время циркулировал слух, что Фукса скоро «сократят», потому что Горецкий им недоволен: приток политического самосознания в бараке перестал расти, а в лесу нужны рабочие руки.

Аугуст как будто накаркал: перед самым обедом Фукса вызвали к «Хозяину», и он ушел бледный от плохих предчувствий, а вернулся вообще синий от ужаса: вся его политическая

деятельность в бараке закончилась, пошла прахом, и назавтра ему назначено было идти в тайгу в составе бригады Фишера – лес валить. Аугуст слышал, как где-то во глубине барака Фукс плачет и жалуется, но прозвучала команда: «На обед, строиться!», и про Фукса забыли: все ринулись на построение, чтобы не дай Бог не опоздать в столовую, не упустить свою порцию; ведь по воскресеньям, благодаря благодетелю Горецкому порции были особенно сытными, гороховая каша полагалась на сале, и пропустить такое мог разве что окончательно мертвый. Так что опоздавшему или зазевавшемуся могло и не достаться ничего: «черпала» частенько «ошибался» при раздаче в пользу личных корешей и любимцев, которые имеются у каждого на свете, так что главный принцип кормления в лагере был: «Кто не успел – тот опоздал».

Немецкий барак (на свою беду!) явился на тот обед в полном составе – включая убитого горем Фукса, которого повел в столовую лагерный инстинкт: беда бедой, а отказаться от обеда, упустить калории – это для зека, хоть партийного, хоть к расстрелу приговоренного – нечто из области... в общем, нет такому явлению ни названия, ни precedентов: аморально это, и безнравственно, и противно, и вообще на бунт похоже. К тому же партия везде должна шагать впереди прочей сволочи, а значит – и в столовую тоже: чем столовая хуже поля боя? Короче, убитый горем Фукс шагал в столовую вместе со всеми.

Человеку, выросшему в Советском Союзе, расписывать устройство столовой на зоне – глупое занятие: каждый это и так знает – если не по личному опыту, так по рассказам родственников, друзей, знакомых: кто-нибудь из них обязательно да прошел через систему советского пенитенцитарного воспитания. На этой зоне лагпункта «Свободный» все было примерно так же, как и везде: длинные, массивные столы, такие же лавки по сторонам, на десять человек в ряд; вся эта мебель вмурована в пол, чтобы не могла летать по залу. Солонки и перчатки на столах не расставлено, липучек-мухоловок над столами не навешено, и лиловые негры дорогих гостей страусиными перьями не оведают. Потому что лиловые негры – это сами зеки за столами и есть; они же – дорогие гости, которым, правда, вальяжно развалившись на скамье, о погоде или текущем курсе валют болтать некогда; им надо молча, сосредоточенно и быстро заглотить весь питательный харч из миски – до последней молекулы, до вкуса алюминия на языке, до зеркального блеска вылизать ложку и миску и уступить место следующей волне голодных сынов ГУЛАГа. «Такова уж жизнь на Марсе!», – как говаривал иногда полковник Горецкий под хорошее настроение.

Аугуст на построение слегка замешкался, потому что как раз заканчивал ремонтировать бахилы, и надо было еще понадежней закрепить дратву; он догнал колонну и пристроился в хвост, но порция ему, однако, еще досталась, и даже вполне неплохая: почти с самого дна бака, где всегда собирается гуща – как ты ее ни разбалтывай.

Когда Аугуст шел с полной миской по проходу между рядами столов к своему месту, вдруг сбоку от него стремительно вскочил с лавки партийный Фукс, сидевший на самом краю, и поддал при этом плечом Аугусту под локоть. Рука Аугуста взметнулась, миска с гороховым полусупом-полукашей вылетела, сделала большую дугу, грациозно изворачиваясь в воздухе, и глухо шмякнулась о пол, разметав по всему проходу широкую, бурю кляксу пищевой массы.

– O mein Gott! Tas war keine Opsicht, August – ich schwör's dir! – растерянно залепетал Фукс, протягивая Аугусту крысиную лапку, облепленную гороховой слизью, – tis ta hab ich aus meiner Supp rausk'fischt, wollte dem Schwein einfach b'scheit saga, ne neue Porzion soll er mir gebe... Keine Opsicht, August, erlich... Komm, komm: mir holet uns ne neue Supp... (По-русски, в переводе с фуксова невменяемого полудиалекта все это звучало примерно так: «Боже мой, Аугуст, поверь – я это не нарочно сделал: вот, выловил из моего супа; хотел показать этой свинье и новую порцию получить... Честно, не нарочно получилось, пошли вместе за новым супом...»).

Аугуст еще не докатился до того, чтобы становиться на колени и соскрябывать свою жидкую кашу с грязного пола, поэтому он подобрал миску, развернулся и пошел вслед за Фуксом к раздаче. Но там бледный и, похоже, мрачно торжествующий Зайчик уже разводил руками: бак был пуст. Фукс швырнул в Зайчика крысиной лапкой из каши. Зайчик чуть заметно ухмыльнулся, повернулся и удалился под защиту своих уголовников на хлеборезке.

– Ты видел? – жалобно запричитал Фукс, обращаясь к Аугусту, – нет, ну ты видел это? Свинья! Свинья! Свинья! Людей морит!.. – Если бы способен был Фукс, или кто-нибудь другой постигнуть в этот миг тот страшный, пророческий смысл, который содержали слова, произнесенные только что Фуксом! Может быть тогда все обошлось бы более легкими последствиями. Но нет, никто не понял этих вещей слов, а иные даже еще и засмеялись.

А Аугуст пошел прочь. «Ладно, переживем», – успокаивал он сам себя, – еще пайка хлеба есть, до вечера продержусь» (тоже ведь вещая мысль была заложена, между прочим, в этом слове «переживем»!).

«Горе – не беда», – говорят русские. Аугуст забрал со стола свой хлеб и пошел к выходу из столовой. Там, в дверях, стоял бригадир из «русского барака» Буглаев и осматривал плацдарм: он привел на обед свою бригаду. Кажется, Буглаев все видел, потому что сочувственно покачал головой Аугусту. Аугуст лишь пожал плечами в ответ и прошел мимо Буглаева во двор. Бригада Буглаева стояла бодрая и радостная. Весь добрый выходной день был у них еще впереди – и обед, и баня, которую они зарабатывали себе каждую неделю, да еще и ужин с повышенным рационом вечером: полный комплект воскресных удовольствий, короче говоря.

Аугуст хмуро пошагал в свой барак, не дожидаясь бригадного построения (у Горецкого с передвижениями по лагерю, особенно по выходным дням, было не так строго, как на ерофеевском лагпункте).

А вечером началось. Сперва в бригаде Фишера, а также и во второй бригаде из «немецкого барака», которая обедала вместе с третьей, фишеровской, людей стала мучить необычная жажда. Потом запекло нутро и началась рвота. Всю ночь в немецком бараке нарастали крики со стонами и проклятьями. Воняло блевотиной. Весь барак корчился на нарах. Послали охранника за Аделем. Профессора надо было вести за руку: у него была куриная слепота, он плохо видел в темноте. Из-за этого он и в лагерь угодил: светил немцам с крыши дома фонариком, вместо того чтобы авиационные зажигалки песком засыпать. Он до того устал доказывать следователям, что светил фонариком не в небо, вражеским самолетам, а под ноги себе, чтоб с лестницы не навернуться, что сознался в конце концов во всем, в чем его обвиняли. Так и попал в «Свободный», и пользовался здесь большим уважением.

Доктор прибежал, пощупал больным животы, отвернул одному-второму-десятому веки, пощупал пульс и сделал неутешительное заключение: «Массовое отравление. Очень серьезно». Человек двадцать он распорядился забрать в санитарный барак, для остальных побежал готовить раствор. Под утро «немецкий барак» и санчасть выглядели как предбанник ада. Горецкий, который сунулся было с криком: «...своей рукой расстреляю симулянтов...», отшатнулся от дверей и раздраженно спросил у Аделя:

– Что, и работать не могут? Все не могут?

– *Vulgaris scapula*. Гемоглобинурия. Судороги икроножных мышц. Все признаки нефропатии с переходом в ОПЭЭН. Похоже на сильнейшую интоксикацию *Amanita Verna*. Делаю все возможное, даю соляной раствор. Но касторки мало, активированного угля вовсе нет. Камфара нужна. Ничего нет... Налицо гепаторенальный синдром...

– Профессор, иттит-твою пополам! – завопил Горецкий, – кончай меня своей клистирной феней грузить! Говори по-человечески: что с ними и когда они просрут и на работу выйдут?

– Бледная поганка. Самый ядовитый гриб в природе. Массовое отравление. Очень сильное. Вряд ли кто выживет. Помочь невозможно. Отравились все, евские из одного бака. Кроме

одного: Бауэра. Еще Фукс относительно в порядке, выживет. Все остальные в критическом состоянии. Трое уже впали в кому.

Послали за поваром, за Бауэром, за Фуксом, за бригадиром Фишером. Фишер прийти уже не смог: корчился в судорогах. Аугуст, со своей стороны, объяснил при каких обстоятельствах он не ел за обедом; Фукс подтвердил все это и жалобно намекнул, что именно теперь, в этот трагический момент все воспитательные силы лучших пропагандистов лагеря следовало бы бросить на идеологическое укрепление духа заключенных. Горецкий ударил Фукса кулаком в ухо, а потом дал ему пенделя и прогнал. Аугуста он прогнал тоже. А вот с поваром оказалось интересно: Зайчика нигде не нашли. С КПП поступил и вовсе поразительный рапорт: Заечек, оказывается, еще вчера вечером вышел за ворота (ему, специальным распоряжением самого Горецкого разрешалось свободно покидать территорию зоны «для пополнения запасов природных витаминов», то есть для сбора грибов, ягод, лесного чеснока, черемши, орехов и так далее – не ради зеков, разумеется, а для офицерского стола), но еще не вернулся. Горецкий созвал всех свободных от службы охранников и отправил их в лес, на поиски повара.

К полудню умер первый из трудармейцев бригады, через двое суток – последний из отравившихся: сам бригадир Фишер. Всего погибло семьдесят восемь человек: вторая бригада в полном составе плюс бригада Фишера за минусом Аугуста и Фукса. Фукс оставался в санчасти долго, больше недели: все-таки пару ложек яда он проглотить успел. Фукс ежедневно утверждал, уже с утра, что судя по самочувствию он непременно должен сегодня умереть. Доктор Адель, однако, к большому огорчению Фукса, выписал его вскоре, сообщив Горецкому, что заключенный Фукс полностью восстановился и может работать. «Чего злишься, дурак? Крысу благодари из каши! Сейчас бы уже сам червей кормил», – уговаривали безутешного Фукса зеки. Но тот боялся леса больше смерти, уговоры на него не действовали, он продолжал скулить и ссылаться на Ленина, который говорил: «Берегите партийные кадры».

А Зайчика так и не нашли. Через несколько месяцев километрах в ста от лагпункта геологи наткнулись на обглоданный зверями человеческий скелет. Ничего примечательного или опознавательного, кроме драных, замызганных офицерских галифе на трупе том не было. Возможно, то и был Зайчик из лагеря «Свободный». А может быть и нет: мало ли по тайге беглых зеков шастает – и в офицерских галифе, и вообще без штанов. «Уж такая жизнь на Марсе»...

Массовое отравление в «Свободном» вызвало резонанс; являлось много начальства с проверками, Горецкого чуть не арестовали из-за Зайчика, но благодаря Зайчику же он и удержался: в комиссии были те, которые вкушали от щедрых и изысканных застолий Горецкого. Для зеков все обернулось, как и водится, только ухудшением положения: режимные условия были ужесточены, а пайки урезаны. Для Аугуста же все закончилось хорошо: его забрал в свою знаменитую, стахановскую восьмую бригаду Борис Буглаев. Долго еще – до самой демобилизации – не понимал Аугуст, зачем он понадобился вдруг знаменитому Буглаеву из «русского барака», у которого бригада была пестрая, многонациональная, состоящая в основном из русских, всякими чудесами сталинского времени занесенных в трудармию. Поймет это Аугуст лишь под самый занавес их знакомства, уже в поезде. А тогда, вскоре после массового отравления и уничтожения поваром Заечиком двух бригад лесорубов, Аугуст в сентябре 1944 года переселился в «русский барак». И это было счастье, что Аугуст попал к Буглаеву, и это было здорово, что Аугуст попал именно в «русский барак».

* * *

В этом «русском бараке» было навалом не только русских – всех наций набилось там, как в древнем Вавилоне: трудармейцев, политических, уголовных, немцев, русских, корейцев,

священников, баптистов, и даже один Герой советского союза имелся – без звезды, разумеется. С точки зрения лингвистики – присутствовали все наречия мира плюс блатная «феня»: Аугуст мало-помалу становился полиглотом. Особенно хорошо в этом «русском» бараке было вот что: он был теплый, и многие русские в нем были тоже в прошлом крестьяне, из последней волны раскулаченных, посаженные, правда, уже не за крепкое хозяйство (к тому времени все у всех давно уже было отобрано), а за антисоветские ностальгические воспоминания о хорошей жизни при царе. В этом плане немногочисленные поволжские немцы, проживающие в этом бараке, оказались с этими разоблаченными русскими монархистами одной, или близкой крови, что сильно спланивало. Кроме того они, эти русские, умели держать на расстоянии блатных, что очень и очень выручало и немцев, и бабаев, и латышей, и всех остальных обитателей «русского барака». И еще русские умели смеяться. У них был юмор. Юмор давал радость.

Радость! Как много означает радость в жизни зека! Радость на зоне куда важнее чем на свободе. Радость и юмор. Скольким заключенным спасли они жизнь! Волшебную силу юмора Аугуст познал в трудармии. До нее, после депортации с Волги Аугуст научился выживать путем отключения мышления. Оказывается, был и другой способ перетерпеть чуму безысходности: юмор. Чуму нужно высмеивать, чтобы она не была страшна. Этому Аугуста научили русские зеки.

Да, русские смеялись. Чем хуже им приходилось, тем громче они смеялись. В бараке шутки делались из всего. Вот пример: притащили одного из карцера – уже полумертвого от голода, положили его на нары, кто-то ему корочку размоченную стал в рот запихивать, а он шепчет: «Ребята, наложите мне лучше в штаны доверху: я буду мечтать, что котлетами обосрался...».

Кстати, о карцере. Он был очень прост: то была глубокая яма, вырытая в земле, накрытая сверху железной решеткой, покрытой брезентом. На дне ямы чавкала вода. Сажали в яму на срок от пяти суток зимой до пятнадцати – летом. Без еды, без воды. Вода просачивалась сверху, и ее можно было лакать, или слизывать со стен, пока оставались силы. Зимой брезент заметало снегом до метра и выше. Зимой мало кто выживал в яме. Но все равно это был не ерофеевский «штрафбат»: там умирали сотнями, тут – десяток-другой за год – не больше. И то зимой только. А летом выживали спокойно. Дополнительным плюсом «горецкой ямы» было то, что в нее сажали не столько трудармейцев, сколько урок – за отказ работать. Поэтому блатные Горецкого люто ненавидели, а трудармейцы – за это же – почти что обожали Агрария Леонтьевича своего. По принципу: «Враг моего врага – мой друг». Трудармейцам Горецкий был, конечно, еще тот «друг», но тем не менее падеж у него в лагере и вообще на промзоне был минимальным в сравнении с тем же ерофеевским и многими другими лагпунктами. В большой степени благодаря гороху. Горецкий кормил свой лагерь исключительно горохом. То ли сам его так любил, то ли вагон лишней заныкал когда-нибудь по случаю: факт тот, что на складе гороху было много. «Качественный лес в обмен на качественный горох» – это был не просто лозунг – это была политическая платформа полковника Горецкого. Горох и юмор: это были два механизма, с помощью которых Аграрий Леонтьевич Горецкий держал производство на высоте. За это его и любили. Юмор у Горецкого был сногшибательный в буквальном смысле: он, например, любил подойти вплотную к новенькому зеку, стоящему в шеренге, и приказать ему: «Дыхни». В тот момент, когда ничего не подозревающий зек набирал воздух, Аграрий резко выбрасывал вперед свой круглый живот, и зек улетал в падении метра на три и падал навзничь, не понимая что с ним приключилось. «Ну ты идохнул, блядина!», – произносил начальник, и весь плац заходился смехом. Горецкий довольным, пузатым петушком покидал плац. Это был его юмор: так он поднимал настроение своим бойцам леса. Иногда он предлагал – тоже для юмора – потолкаться животами с кем-нибудь из зеков. «Ну! Едрена бобики! Выходи на бой, которые смелые!», – кричал он лихим голосом Ильи Муромца, – что, слабо,

засранцы?». Конечно, засранцам было слабо. Храбрые, может, и нашлись бы, да толкаться было нечем – горбом разве что... Но то был юмор. За незлое, примитивное чувство юмора Горецкому многое прощалось.

Юмор – великая сила. Смех – великий лекарь духа. Это – не пустые слова. Это – рецепт выживания. И рецепт долголетия, наверное, тоже; правда, чтобы такое утверждать нужно сначала прожить долго... Почти год еще, до самой демобилизации учился Аугуст Бауэр у своих товарищей, русских зеков – соседей по нарам и напарников по пиле – этому искусству: долго жить. А год – это единица бесконечности по лагерному времяисчислению. Это почти что вечность, а ведь вечно не живут. Поэтому дольше года прожить на лесоповале удавалось далеко не каждому. Загибались даже такие жилистые, как Аугуст: стоило один раз подхватить инфекцию, или серьезно пораниться, или надорвать спину, или неправильно распределять дневной паек неделю подряд; стоило один только раз сорваться с жестокой карусели сплошного, ежедневного трудового подвига, и дальше начиналось медленное поначалу, но все убыстряющееся сползание в пропасть: все меньше сил, все больше перегрузок, от которых силы тают еще быстрее, и вот уже все, конец: сил не хватает не то что на норму, а чтоб до леса пройти. Этот симптом – уже признак доходяги. А доходяги долго не живут: потому так и называются. Легкая работа в лагпункте хотя и имелась, но конкурс дистрофиков на такие работы – шить, подметать, чистить сортиры, копошиться в мастерских, на кухне, при санблоке – был огромный: крайние в очереди на легкие работы не успевали дожидаться и умирали в тайге, на лесоповале, тяжелой гирей дополнительного труда затягивая своей немощью в пропасть остальных членов бригады, у которых имелся выбор: «тянуть» норму дистрофиков или убить их всех к черту. Разумеется, тянули норму, медленно убивая себя.

Но в бригаде у Буглаева был полный порядок. Буглаев на «Свободной» промзоне – это был тот же Нагель из ерофеевского лагеря, но только еще сильнее, решительнее и храбрее. Это был могучий характер, сильнейшая воля, такая сильная, что – давно подмечено было трудармейцами – собаки охраны, взглянув на Буглаева, и те затыкались и даже начинали жалобно повизгивать. Сами солдаты-вертухаи и лагерные офицеры не задирались с Буглаевым. А учетчики и вовсе робели перед бригадиром восьмой бригады, хотя дрался он редко. Но знали все: пообещает – сделает; пригрозит – исполнит. А исполнит – так качественно: недаром был республиканским чемпионом по боксу в юношеские годы. Отписок на сторону в бригаде Буглаева не существовало – за пределами того, что он сам отдавал «для дела». Так например, узнал позже Аугуст, за него, за то, чтобы пополнить его в свою бригаду, отдал Буглаев сто пятьдесят кубов леса. Правда, эта его бригада и «ломала» по три нормы. Фотография Буглаева красовалась на доске почета возле конторы, и который месяц поговаривали, что ему скоро медаль повесят, или трудовой орден какой-нибудь дадут.

Сам по себе Буглаев большим балагуром не был, и большую часть времени пребывал в довольно-таки мрачном расположении духа, но юмористов всячески поощрял. «Люблю веселых», – говорил он, зная за юмором удивительную способность держать вертикально людей, потерявших уже, казалось бы, все последние силы без остатка, и чудодейственным образом вести их дальше сквозь лагерный мрак, подобно тому, как барон Мюнхаузен вытаскивал сам себя за волосы из трясины.

Много ли найдется психиатров на белом свете, которые смогли бы оценить, скольким зекам спас жизнь юмор? Он был разный в лагере – в основном грубый и примитивный, по типу лопухов для Заечика, или «горохового оркестра», о котором речь впереди, или в форме разного рода подтруниваний над теми, которые это проделывать над собой позволяли. Так, много забавы доставлял лагерной публике заключенный по фамилии Фондяев-Копчик: вологодский добродушный великан, потомок давным-давно обнищавших помещиков, за этот факт и посаженный в первый раз еще в начале двадцатых. Он отсидел, вышел, его снова забрали, выпу-

стили, опять арестовали, он еще раз отсидел, вышел, и до того привык к ходкам, как к командировкам, что вообще не удивился, когда его в очередной раз подгребли в трудовую армию. В прошлом он крестьянствовал, плотничал в артели, умел и кладку ложить, и кузнечным делом владел немножко: в общем, отлично вписывался везде, где работают руками, и при всех обстоятельствах оставался неизменно добродушен и незлобив, за что и был ценим братством по нарам, а в особенности за то любим, что повышал градус радости в бараке, позволяя потешаться над собой, вернее, над своей чудной двойной фамилией, отвечая на все подколы однообразно, с улыбкой и уютным вологодским «о»: «Да поШОл ты в жоПу, тоВарищ дОрОгОй!».

И как его только не донимали: каждый изошрялся в меру своих умственных способностей.

– И с откуда у тебя фамилия такая знаменитая, дядя Ваня? Прямо-таки роскошная у тебя фамилия, такие только князьям давали: Сухово-Кобылин, например, или Оболт-Оболдуев у Некрасова есть...

– ... А еще есть такая фамилия Бит-Иван, я слышал...

– ... А еще есть Иван-Грозный...

– Да поШли вы все в жоПу, дОрОгие тоВарищи!

– А у меня знакомый был на складе мукомольного завода в Новгороде с фамилией Перди-Коняшкин. Говорил – из итальянцев родом, предки дворцы строили в России. Ты ему не родственник случайно, а, Фондяй?

– Да поШОл ты в жоПу!

– Во-во: давай мы все заявление напишем, чтоб тебя в Пошол-Вжопина переименовали.

– ПоШОл в жоПу.

– Во-во...

Даже охрана куражилась:

– Фондяев!

– Здесь!

– Копчик!

– Здесь!

– Фондяев-Копчик!

– Да здесь я!

– Не врубаюсь. Что вас – трое тут, или как? Или двое? Или копчик у кого-то отдельно в строю стоит? А? Что? Не слышу ответа!

– Он говорит: «ПоШОл в жоПу»!

– Кто говорит? Это кто сказал «ПоШОл в жоПу»?

– Фондяев.

– Нет, я спрашиваю: кто из вас сейчас «пошел в жопу» сказал?

– Фондяев с Копчиком сказали.

– Тьфу, придурки сраные... Нале-во! Правое плечо вперед, в сторону ворот – шагом арш!

И вот уже хорошее настроение у всей колонны хотя бы на несколько драгоценных минут ближайшей жизни.

Но бывал юмор и более изысканный, заложенный в хоровое искусство, поддерживаемое в лагере Горецким лично. По инициативе начальника лагеря имелись в лагере собственные хор и оркестр. Под аккомпанемент нескольких труб, скрипок, баяна и двух барабанов заключенные исполняли по праздникам революционные и патриотические песни. За это они получали дополнительные пайки гороховой каши на сале. Ради подобной льготы даже хрипачи-сипачи претендовали на обладание соловьиными голосами в надежде, что и их возьмут в хор, а в гармонисты просился вообще каждый, имеющий в сумме хотя бы семь пальцев на двух руках. Даже один блатной состоял в оркестре: объявлял номера очень художественным голосом и стучал на ложках. Так вот: тонкость «хорового» юмора заключалась в том, что патриотические

песни исполнялись зеками с мелкими, незаметными искажениями, и с обязательной улыбкой. «Вохры враждебные воют над нами...», – и рот до ушей. «...И как один умрем в борьбе до лета...», – и снова лукавая радость от шкоды на мордах. Непосвященное офицерье и охрана в зале ничего не замечала и хлопала: тем смешней было посвященным, которые знали и поэтому слышали в каких местах чего искажено. Или другое: «Наш паровоз – вперед лети! В коммуне – остановка; иного нет у нас пути: в руках у нас – винтовка», – и хористы виновато разводят руками; и не поймешь отчего они разводят руками: оттого ли, что остановка в коммуне произойдет из-за неисправного паровоза, или что винтовки в руках нету... ее бы прямо сегодня иметь... Кто-то из начальства однажды обратил внимание: «А чего это вы скалитесь все время, когда поете?». Ему объяснили, что это обязательный жанр такой в современном пролетарском искусстве, и называется он – «Социалистический оптимизм». Крыть было нечем, и подозрительный начальник исправно хлопал дальше социалистическому искусству в исполнении врагов народа, вставших на путь исправления. В областных партийных инстанциях были, в целом, тоже довольны результатами партийно-воспитательной работы Горецкого:

– Исправляются постепенно сволочи, однако! – констатировали в отделе культуры обкома ВКПб, наблюдая энтузиазм лагерников по части патриотических песен. Несколько номеров партийная комиссия тем не менее забракела. Одним из них была песня «Вставай, проклятьем заклеймённый, Весь мир голодных и рабов...». Дело в том, что в этом месте, воспринимая призыв буквально, зеки дружно вскакивали с мест и устраивали овацию. Охрана с начальством каждый раз вскакивала тоже и сильно напрягалась, хватаясь за оружие и испуганно озираясь. Кончилось тем, что исполнять эту революционную песню зекам в конце концов категорически запретили.

Теперь о «гороховом оркестре», или, иначе – «гороховом хоре». В «русском бараке» однажды спонтанно сложился альтернативный официальному, собственный, «барачный» хор, названный местными остроумами «гороховым». Иные называли его еще «гороховой капеллой», еще некоторые, помузыкальней, использовали для самодельных «оркестрантов» обозначение «Бахи-бабахи»: изощрялись в названиях, короче, кто как умел: это тоже относилось к тому самому спасительному юмору. Так вот: как-то заключенными было подмечено, что после гороховой каши кишечные звуки приобретают особенную объемно-тембровую окраску, сохраняя при этом жалобные тональности исключительной драматической силы.

Проявилось много талантов. Один умел на кишечном выдохе произносить ласковое домашнее «мяу», другой, в честь открытия второго фронта – жизнерадостное американское «Оуйеccc!», третий утверждал, что «поет» по-китайски, и действительно звучало похоже.

При этом солисты разделились на «басов», «теноров» и умельцев производить звуки разной высоты. Возникла группа энтузиастов, которые, потренировавшись в звукоряде, попытались последовательным подключением солистов – по принципу ксилофона – совместно «пропеть» мелодию «Ленин – всегда живой». И у них стало получаться! Иной раз у «гороховых» получалось до того здорово, что отдельные слушатели падали от хохота с верхних нар и расшибались. Часто у «певцов» просили повторить на «бис». Но с этим делом было непросто: порции гороховой каши были все-таки слишком малы для нескольких дублей. Однажды при попытке «спеть» на «бис», один из «хористов» от натуги – как бы это помягче выразиться – обосрался, короче. Восторг зрителей описать невозможно. Вот когда на стадионе большого города родная команда гол забивает – тогда взлетает над городом похожий рев бизонов. Попка на вышке завертел прожектором, дежурный по лагерю на всякий случай врубил сирену. В барак ворвалась охрана и скоро выскочила обратно, смеясь и зажимая носы.

Доктор Адель с удивлением констатировал, что в этом «оркестровом» бараке в последующие недели полностью излечилось от разных болезней несколько хронических больных. Научного объяснения этому феномену профессор дать не смог. Зато свое объяснение имели

зеки: юмор это был, тот самый юмор, который лечит на зоне даже дистрофиков – за неимением других эффективных лекарств. Ведь что лечит на лесоповале, если разобраться?: очень, очень много свежего, целебного, соснового воздуха плюс юмор: это и есть тайная формула лагерного выживания, которую можно постигнуть только на каторге. Аугуст в трудармии ее и постиг в полной мере. Особенно по части свежего воздуха...

Между тем круг «гороховых хористов» неуклонно рос, в народной массе выявлялись все новые и новые таланты; братья Сергушины, например, научились исполнять дуэтом следующий номер: младший, Петр, «произносил» с пронзительной тоской: «Ио...», а старший, Павел, виртуозно завершал: «...сиф-ф-ф-ф...». Получалось очень призывное, нежное и бесконечно жалобное:

«Ио-сиффф!». Невозможно описать радость людей, слышащих это родное имя под черной крышей опостылевшего барака.

Да, много людских жизней в лагерях обязаны были смеху и юмору – пусть даже такому вот – не самому изысканному. Хотя, с другой стороны, юмор, при всей его лечебной силе мог на зоне (как и вне ее, впрочем) быть и опасен. Вот и ансамбль «гороховых певцов» проработал недолго, и был в конце концов «сдан» начальству лагеря сексотом, который настучал про Ленина и Сталина. Было заведено уголовное «Дело о пердильном оркестре» (его фигуранты и свидетели клялись и божились, что именно под этим названием громкое политическое дело проходит по всем официальным документам). Подозреваемых по этому делу подвергли суровым допросам. Их обвиняли в идеологической диверсии. «Певцы» всё отрицали и утверждали, что Ленина любят и уважают больше всех других вождей на свете, и что звук «Ленин» этим кишечным методом вообще не «поется», потому что в лагерных условиях не может быть «произнесен» в принципе: это, дескать, очень сложный звук, для воспроизведения которого требуется совсем другой харч: икорка, красная рыбка, копченая колбаска, свежее пиво и сладкое вино в определенной пропорции. «Хористы» брались доказать это в ходе соответствующего следственного эксперимента, в котором им было, однако, грубо отказано. Съесть красной рыбки с черной икоркой и возблагодарить за это Ленина и Сталина во всех посильных формах чекисты и следователи умели и сами, без этих проклятых зек, сожравших с начала войны уже два полных вагона гороха. Так что вместо икорного эксперимента «артистов» зверски избивали и навесили им еще по пять лет исправительных работ. Лишь братьям Сергушиным с их «Иосифом» повезло больше других: им удалось закосить под умалишенных. Они сразу сознались, что все это время работали на индийскую разведку путем спуска вниз по реке, в сторону Амура зашифрованных дощечек с донесениями о лагере: о количестве руководства и точном расположении постов охраны. Это делалось для того, якобы, чтобы индийская армия могла, когда потребуется, одним ударом захватить лагерь и присоединить его территорию к Индии, когда СССР войдет в Берлин и будет занят там переписью населения. А слово «Иосиф», произносимое братьями таким вот экзотическим образом, является ничем иным как неподдельным паролем, по которому индийцы, когда ворвутся в лагерь, опознают своих тайных агентов, наградят их именными бриллиантами, назначат почетными махараджами и выдадут каждому по три ученых слона. Еще сообщили братья Сергушины, что орфографические ошибки в шифровках исправлял для них сам начальник лагеря, полковник Аграрий Леонтьевич Горецкий. Это заявление и было главным тайным козырным тузом Сергушиных: они прослышали, что родной брат полковника Горецкого заведует отделением в Иркутской психбольнице. И расчет братьев оказался верным: через две недели оба они уже жили в психушке: сладко ели, мягко спали и в лес не ходили: в сравнении с лагерем – абсолютный рай земной.

Полгода спустя в адрес барака номер два – то-бишь «русско-немецкого» барака, пришло письмо с обратным адресом из Иркутска. Цензурой оно было проверено и пропущено, хотя не все в бараке поняли – от кого оно поступило и что за бред содержит. Письмо состояло из

одной лишь фразы, составленной в форме телеграммы: «разучиваем гимн советского союза тчк первый аккорд отлично тчк братским приветом тчк петр зпт павел тчк».

– Чокнутый писал какой-то! – пожал плечами один из лагерных новичков, бросая бумагу в буржуйку, что стоило жизни нескольким вшам, вцепившимся в тайное, зашифрованное послание Петра и Павла и улетевшим в топку вместе с посланием.

Спустя некоторое время стукача, заложившего «гороховцев» выявили, и он умер под толстой сосной в результате несчастного случая на лесоповале. Иначе и быть не могло. Писанные законы государства были суровы к зекам и почти всегда несправедливы; неписанные законы самих зеков были суровы к сексотам и справедливы всегда. Сексоты были бичом всякой зоны, и через их осведомительство лагерной кровушки были пролиты моря и океаны: куда больше, чем высосали ее все клопы и вши ГУЛАГа, вместе взятые. Поэтому сексотов уничтожали безжалостно. Зачастую это вовсе не были самые мерзопакостные из «сидящих»; скорей наоборот: в большинстве своем то были слабые, вежливые, трусливые люди, по гражданской привычке боящиеся начальства превыше всего на свете и не смеющие отказаться, когда грозные лагерные шефы требовали от них осведомительства. Но это никого уже не интересовало. Сексот есть опасный предатель. А предатель должен умереть: правило простое как пещерная азбука.

Непритие сексотства – одна из особенностей многонациональной общности людей, остроумно прозванной кем-то из классиков социалистического реализма – «хомо-советикус»: нации, бесконечно терпеливой к угнетению, яростно безрассудной в утолении своей сложной, труднообъяснимой, вселенской тоски по Богу и Справедливости, удивительным образом сочетающейся в ней с отрицанием и Бога, и черта, и кочерги, и государства, и попа, и царя, и с постоянным стремлением к подвигу, к личному самопожертвованию ради чего-то большого, чего-то великого, чему еще и названия в природе не придумано. Этим генетически-заданным устремлением в неведомо куда, в сказочные королевства с молочными реками и кисельными берегами, русские заразили и множество других малых народов, живущих с ними в единой империи духовных ценностей. Как заразили они их и ненавистью к сексотству, чем российский этнос разительно отличается от этносов западных, где стукачество почитается за доблесть, за проявление зрелости общественного сознания, и окружено ореолом патриотического служения своему государству, а через него и всей нации.

Российские немцы, которые почти в полном (оставшемся в живых) списочном составе покинут Россию в конце двадцатого века, будут очень долго еще – при всех их немецких именах и искреннем старании интегрироваться в германскую культуру – разительно, принципиально отличаться от местного населения. В том числе – верой в сказку про молочные реки с кисельными берегами, а также величайшим недоверием к прессе и политическим авторитетам всех мастей; и еще – непритием стукачества: высшего проявления, апофеоза человеческой гнусности.

* * *

В конце века Аугуст Бауэр (уже совсем другой Аугуст Бауэр, хотя и имеющий самое непосредственное отношение к настоящему Аугусту, о чем станет понятно в дальнейшем), очутившись в Германии, очень скоро научится безошибочно различать «русаков» – российских немцев, пускающих корни в новую почву – в любой толпе. Они, эти бывшие российские немцы уже и одеваться будут как местные, германские бюргеры, и дорогу переходить только под светофор или по «зебре», но все равно они будут другими, будут отличаться: более внимательным взглядом, более живой улыбкой, острым интересом ко всему происходящему вокруг – не говоря уже об «общественных проявлениях»: громком смехе и восторженном разговоре

во всю ширь эмоций – как в родной степи раздольной; а еще постоянной готовностью во что-нибудь встрять: с бомжом ли побеседовать мимоходом, головой ли покачать при виде панка с зеленой башкой и бычьим кольцом в ноздре, или плюнуть в досаде, заметив целующихся молодых людей мужского пола; или полезный совет дать кому-либо, кто ни в каком совете не нуждается: сам все знает; наконец, крысу поворошить палкой в кустах, куда она спряталась, удирая (и сдалась ему эта крыса, спрашивается?). Во многих проявлениях будут отличаться российские немцы, немного напоминающие великовозрастных детей, от «немецких немцев» – солидных бургеров, живущих спокойно и размеренно, по твердому регламенту, не терпящему дерготни и нестабильности.

Висят, к примеру, в разгар воскресного дня чьи-то трусы на балконе. Ну висят и висят, и пусть бы себе висели спокойно дальше; казалось бы – кому какое дело: трусы чистые, нейтрального цвета – кому помеха? Но нет, не все так просто в Германии. Считается почему-то, что вывешивать белье на всеобщее обозрение в воскресенье стыдно. В понедельник – уже сойдет, а в воскресенье – ни-ни: никак нельзя. В воскресенье даже магазины не работают, потому что этот день народу для молитв выделен и для мыслей о добром. А тут – трусы чьи-то перед носом развеваются! Какие уж тут мысли о добром! Рычать охота, и ногами топтать: скандал, ужас, дикость, азия! И почему так повелось – черт его знает. В конституции про это ни слова не сказано. Стало быть – просто традиция такая, может быть местная, а может и римляне принесли ее сюда три тысячи лет назад на своих суровых поработавших копьях. И вот уже ближайшие соседи из коренного населения с понятным презрением косятся в сторону того балкона: пфуй! Иной местный герр Вебер или герр Шмидт с активной жизненной позицией и строгими нравственными принципами твердо, но деликатно, в порядке помощи пришельцам с востока пойдет и укажет дорогому герру Веберу или герру Шмидту из Казахстана на это вопиющее воскресное безобразие с трусами, и конечно же, до трусов опозоренный аусзидлер Вебер бегом кинется сдергивать белье с веревки, горюя за свою отсталость и поражаясь насколько далеко ушла вперед западная цивилизация от России, в том числе и в вопросах культуры сушки трусов.

Или вот тоже: обыкновенная, казалось бы, баня. Даже там все непонятно переселенцу из России. Пауль Лоренц из Караганды отправился в субботу в сауну, разделся там в раздевалке и пошел по коридору в банный зал, мыться; завернул за угол, да как кинется назад! Аж взвыл и затрясся от ужаса в первый миг: опять он чего-то напутал – не иначе! Потому что навстречу ему шагала целая толпа абсолютно голых, красных баб, да так решительно шагала, как будто команда поступила убить его, Лоренца, к чертовой матери. Но ведь он же не нарочно, он же просто чего-то перепутал опять и в женский день явился! Лоренц бежал к своему шкафчику, прикрываясь спереди и сзади ладонями и выкрикивая на ходу популярное немецкое слово, усвоенное им уже в самый первый же день приезда в Германию: «Энтшuldigунг!», «Энтшuldigунг!» (простите-извините, дескать). Но скоро оказалось: нет, ничего он не напутал. Просто баня-то общая оказалась! Мало того: они тут почти что все общие, как вскоре к ужасу своему выяснил Лоренц. В цивилизованном обществе, оказывается, на фоне всеобщей гормональной апатии давно уже все вместе моются – мужчины и женщины вперемешку. И никаких проблем! Пол вместе с одеждой остается в гардеробе висеть, и голые бесполое граждане сидят в парилке чинными рядками: все чистенькие и отрешенно-равнодушные друг к другу. Вот каких грандиозных социальных успехов удалось достичь западным демократиям за минувший послевоенный период, пока Россия всякой ерундой занималась: оренбургские степи распаивала, тринадцатый год обгоняла по добыче угля на душу населения, да историю КПСС в который раз переписывала под очередного заказчика – и все это ради окончательной победы коммунизма. А тут на Западе, между тем, коммунизм нравов уже торжествовал всюду, оказывается. Во всяком случае – в бане. Типа: перед Богом и банной шайкой все равны. Оно, возможно, и так: баня – дело святое, ангельское, а у ангелов, как известно, половых признаков не бывает – одни

крылышки за плечами. Но Лоренц-то об этом прогрессе Запада совершенно не в курсе был, его в посольстве про баню в известность не поставили, не предупредили, не просветили, вот и попал он в обидный переплет, поплатился за свою непросвещенность тяжелыми страданиями души и тела. Ибо спасаясь стремительным бегством, он чересчур резко крутанулся на повороте, поскользнулся на кафельном полу, упал и сломал себе ногу. Но и это было еще не все: его, кричащего, настигли голые немецкие женщины и потащили его, голого же, к выходу, к уже вызванной кем-то «скорой помощи», ругаясь, что этот тяжелый русский черт даже пальцем пошевелить не желает, чтобы помочь им и самому себе; а как же мог он им помочь, когда обе руки у него заняты были: он ими отчаянно прикрывался понизу. И зачем, спрашивается? Чтобы никто не смог догадаться, что он мужик, что ли? Немецкие бабы злились и смеялись над стеснительным русским Лоренцом, и русский Лоренц тоже злился сквозь боль и стыд, но вот смешно ему не было совершенно. В тот момент, во всяком случае, ему не до юмора было. А смеяться над собою за тот эпизод он стал уже много позже – когда полностью интегрировался в европейскую культуру и научился расхаживать по общей бане подобно Адаму до грехопадения – совершенно равнодушный к подробностям чужих тел, но и ничуть не смущающийся собственными отнюдь не нулевыми параметрами, которые тоже никого вокруг не интересовали. В России это было бы обидно, а тут, на Западе – ничуть. Все-таки Запад в своем нравственном развитии далеко вперед ушел от России по тропе толерантности, очень далеко... До Лоренца даже слух дошел однажды – в той же сауне, кстати – что одной из местных партий готовится законопроект, в соответствии с которым жениться можно будет впредь не только на гражданине одинакового с тобой пола (это уже есть), но и на любимой лошади, или на породистой собаке, или даже на автомобиле с катализатором или на дорогом энергосберегающем холодильнике класса «АА». Недобросовестные, коррумпированные политики-лоббисты, сообщила Лоренцу соседка по жемчужной ванне, стараются протащить в этот список еще и резиновых кукол и вибраторы, но номер с вибраторами у них не пройдет – заверила она Лоренца: мы все-таки как-никак цивилизованное, христианское общество, а не стая каких-нибудь павианов безбожных... И Лоренц соглашался с ней: да, мы не павианы. И верил всему сказанному. Почему верил? Потому что он уже целиком интегрировался в этот мир чудес. И свидетельством тому был следующий признак: Лоренц, тайно плакавший ночами по России вначале, научился отзываться о ней если не с презрением, то с типичной насмешкой западного превосходства. Ненависти, правда, в этой насмешке не было ни на гран. Да, их, Лоренцов обижали там, в России, но там обижали не только их: там обижали и будут обижать всех подряд; там это что-то типа государственной традиции или политики: «Бей своих, чтоб чужие боялись» – называется она. Государство с его опричниками там многие ненавидят – это правда. Но не Родину. Мало кто ненавидит матушку свою, даже если она и колотит тебя за шkodства твои, или профилактики ради. Спрятаться от нее подальше – это другое дело, но ненависть тут не при чем. Родину любят: хоть в тюрьме, хоть из-за границы. Так что поле ненависти к России возделывали тут, на Западе, совсем другие социально-исторические силы – те, которых русская матушка с её плохим характером не ремнем по заднице драла, но которых она веником выметала, мордой в их же дерьмо окунала: и раз, и другой, и третий – покуда вспышки ненависти завоевателей не перешли в хроническую форму. Но к тем завоевателям русский Лоренц не относился никоим образом. Как раз наоборот: чтобы им, последним агрессорам побыстрее шею свернули, его папа Лоренц, и дядя Лоренц, и дед Лоренц, и все остальные родственники валили деревья в тайге, и руду копали в трудовых лагерях, умоляя Победу прийти поскорей. Так что чувство превосходства Лоренца перед Россией целиком и полностью произрастало из сферы быта, которую он успешно, хотя и с трудом освоил в Германии, а освоив, очень гордился собой. Потому что сфера эта вне всяких сомнений была и остается на порядок выше многих иных сфер на планете, и требует долгих усилий для своего постижения пришельцами из других бытовых миров.

Взять тот же мусор: это же сплошной кошмар для новичка! Пять сортов, и каждый – в отдельное ведерко, в отдельный бак, в отдельный мешочек складывать требуется. Мусорная машина приезжает за картоном в один день, за пластмассой – в другой, за пищевыми отходами – по вторникам, за перегоревшими лампочками и рванными тапками – через неделю; да еще и мусорная полиция имеется, которая следствие ведет, кто куда что неправильно бросил. При этом пустые батарейки и вовсе отдельно сдавать нужно, для техники – холодильников, компьютеров – специальный утилизатор заказывать надо, для поломанной мебели – опять же отдельную мусорку; автомобильную резину или аккумулятор не сдашь, пока новый не купишь, а отработанное масло из картера – и вовсе девать некуда: ни в одном лесу не сольешь безнаказанно; караул да и только. Со стеклом – и с тем геморрой с головной болью пополам: темное – в один колокол, зеленое – в другой, прозрачное – в третий. И зачем, спрашивается, если потом машина все равно все в один кузов грузит? Непонятно. Мало того: покидаешь все строго по правилам, а потом узнаешь, что половина бутылок была «пфандом»: сдать можно было, то есть – деньги назад вернуть. Эх!..

Дальше – автомобили. Это же дурдом при тихой погоде! Хочешь машину соседа загнать? Да нет проблем!: получи паспорт на нее, и иди продавай. От тебя при переоформлении даже доверенности от хозяина машины не попросят – только от нового владельца потребуют согласие на приобретение: а вдруг ты кому-то подянку подстроить желаешь, и лишний автомобиль на чью-то и без того сильно нагруженную шею повесить задумал – свинцовым грузом дополнительной гражданской ответственности? Со всей последующей возней для владельца: налогами, страховками, парковками, заправками, мойками, ремонтами, техосмотрами, дорожными штрафами и штрафными пунктами во Фленсбурге. Ведь автомобиль – он как ребенок: постоянного ухода требует, бездну денег на содержание, места для стоянки, времени на обслуживание, а капризничает он без предупреждения, да и вообще до могилы довести может со временем, как любой ребенок это может сотворить с родителями, выросший из пеленок до уровня активного потребителя социальных удовольствий. Автомобиль, конечно, есть у каждого члена развитого общества, но кому же нужен лишний рот? Это, опять же, прямая аналогия с детьми: и иметь их хорошо в западной семье, потому что за них государство пособия платит, и будет кому наследство оставить и фамилию передать, но и жить без них гораздо легче и проще, так что еще десять раз подумать надо при планировании семьи, выбирая между деньгами и свободой. Поди выбери между двумя морковками. Буриданов осел в подобной ситуации вообще сдох когда-то...

В этом вопросе в Советском Союзе – что на Волге, что в Казахстане – тоже все иначе было: там, в степях, детей любили безо всяких пособий и условий, и нарождались они поэтому кучами – независимо от коллективизаций, депортаций, индустриализаций, инфляций и деноминаций. Просто так рождались, вне плана, от любви. Ради жизни на земле. Да, в СССР все было иначе, совсем иначе. А качество народа получалось ничего, неплохое: и войны выигрывали, и книги писали, и музыку сочиняли, философствовать умели, Беломорканал строить, ракеты запускать в космос, на коньках кататься. Все умели...

Это всеумение касалось всех – и русских, и немцев, и таджиков: всех советских людей, которые приспособились сами себя за волосы тащить по жизни. С этим всеумением и постоянной готовностью совершенно безвозмездно поделить своим опытом и обширными знаниями с любым интересующимся российские немцы и в Германию приехали, существенно отличаясь от узкоспециализированных местных жителей как по этому признаку, так и готовностью прийти на выручку и стать лучшим другом каждому, с кем хоть раз довелось поздороваться за руку – не говоря уже о совместно выпитой рюмке: в российской культуре общая водка вообще скрепляет дружбу посильней крови и колючей проволоки. Нужно ли удивляться, что и местное население, со своей стороны, восприняло российских немцев как больших чудиков. "Komische

Burschen" («забавные парни»), – говорили они, и это выражение представляло собой одну из наиболее ласковых характеристик в отношении «понаехавших» из России. Собственно, эта неодинаковость и представляла собой основной барьер для благополучной и быстрой интеграции «понаехавших» в Германию – при всех их замечательных, неотличимых от местных фамилиях: Мюллер, Шефер, Майер, Шмидт и Вебер...

Аугуст Бауэр какое-то время будет жить в Германии в «доме рядной застройки», представляющий собой ряд двухэтажных коттеджей, слепленных вместе, чтобы сэкономить на боковых стенах. Позади дома – по четыре сотки земли на каждую счастливую семью: кустик посадить, газончик раскатать, фонтанчик установить, глиняного гнома в красных штанах поставить на грядке – для забавы и радости восприятия. Все межи открыты, густо засаживать нельзя: солнце – общее, ветер – общий, «гутен морген» соседу – тоже вещь ритуальная: сквозь кусты кричать неприлично, да и напугать можно какого-нибудь старенького инвалида, дремлющего в коляске под зонтиком. А он проснется и в суд подаст. В Германии очень любят в суд подавать. За кружкой пива посидеть и в суд подать на кого-нибудь – это любимые национальные развлечения немцев.

Так вот: соседу-немцу привезли однажды кучу земли, потому что почвы на местных участках сами по себе малоурожайные, базальтово-кварцевые (недаром гитлеровцы с Украины, пока там были, не рушники вывозили, не перцовку канистрами и сало пудовыми шматами, а чернозем вагонами!). И вот наблюдал Аугуст со своего балкончика такую идиллическую картину: мчится один из соседей по коттеджному ряду, российский выходец, с тачкой и лопатой на участок к другому соседу – немцу коренного происхождения. А именно: спешит русский немцу на выручку; коренной-то немец старенький уже, клапана сердечные западают, задыхается, синий весь, едва лопату приподымает. Стал «русский» землю с его кучи в свою тележку накидывать, а старичок как взовьется – и на того с кулаками: «Это моя земля!». «Русак» опешил: «Сам знаю, что твоя. Я ж помочь только...». – «Помощь не требуется!». – «Как это не требуется? Ты, небось, в одиночку за год не перетаскаешь!». – «А это уже мое дело!.. Ну хотя ладно, работай. Только я тебе больше трех марок в час платить не могу». – «Каких еще марок? Я ж бесплатно, по-соседски...». Старичок аж лопату выронил: «Как это бесплатно? А чем я тебе потом отплачивать должен?», – и окончательно испугался: «Нет, нет, иди отсюда, уходи скорей, а то еще сообщат соседи в «Amt», что я тебя на работу нанял: плати потом за тебя налоги да штрафы. Вывихнешь еще чего-нибудь, или уже вывихнул, может быть, а с моей страховки списать хочешь. Нет, иди, иди, иди, я сам...». Оскорбленный в лучших чувствах «русский» пошел прочь, бормоча себе под нос что-то вроде "Stary Durak!". Немец, конечно, не мог понять что это означает по-русски и подумал, что это особое такое, русское извинение за причиненное беспокойство. А на извинение положено отвечать вежливостью. Поэтому немец крикнул русскому в спину примирительное: "Schon gut!", а тот, решив, что немец передумал насчет помощи, повернул назад со своей тачкой – к великому ужасу престарелого немца, не привыкшего к такой вот, безвозмездной, но немного агрессивной братской помощи, исходящей от чистого сердца, безо всяких там сложных демократий, спрятанных в заднем кармане... В общем, весь предыдущий диалог с мелкими вариациями произошел между этими двумя представителями разных цивилизаций заново, и так повторялось еще два раза, покуда немец не догадался прикусить язык и промолчать, когда трижды отвергнутый русский удалялся в последний раз.

Еще рассказали Аугусту такой случай из германской действительности: скопилась колонна машин на узкой дороге, и все росла. Потому что некий долбанутый шутник решил поехать черепашьим шагом и всех поддержать. Пять минут едут так, пятнадцать. Водители из самых нетерпеливых начали бибикать. А в Германии нельзя сигналить когда сзади едешь; это у них словом "Эрцвинген" обозначается: «оказание давления». А вдруг тот, кому сигналият, вдруг

испугается до паники, да по газам даст, да врежется в кого-нибудь впереди, или вообще перевернется на повороте? За его лечение, возможно, всю жизнь потом платить придется! Короче, нельзя никого пугать на дорогах Германии: за это солидный штраф полагается, а при отягчающих обстоятельствах и вовсе прав лишиться можно. Однако, в описываемой ситуации до того достал этот негодяй, что гудеть стали все – вся колонна: сперва один, потом другой присоединился, а потом и все вместе загудели-засиренили (всем вместе нарушать не так страшно: за коллективной ответственностью всегда прячется индивидуальная безнаказанность). В общем, гудеж взметнулся до самой стратосферы, так что пилот пролетающего в небе самолета, судя по инверсному следу, в сторону вильнул, не понимая кому это он помешал в бездонном голубом просторе. А негодяй, чрезвычайно довольный произведенным эффектом, еще того медленней поехал. Черт его знает, зачем ему все это надо было; может, начальник его обругал жестоко, или жена накричала напрасно, или дети не послушались в чем-то: вот и решил вусмерть обиженный дегенерат показать всему остальному сообществу, что с ним тоже нужно считаться, что и от него кое-что зависит в раскладе событий реальной жизни. Отомстить он решил подлым землянам в такой вот изощренной форме собственного изобретения...

В этой истошно гудящей колонне пятым или шестым от начала ехал некий, никому не известный член человечества Женька Бибербах родом из Кустаная. Он тоже яростно бибикал вместе со всеми. Но скоро ему все это дело настоёжилось: чисто по-русски. Он обозлился: тоже чисто по-русски. И вот, врубив дальний свет и протяжный звуковой сигнал, он, рискуя многочисленными жизнями – как своей, так и встречных водителей – пошел на обгон колонны, и обогнул ее, и наглеца тоже обогнал с визгом шин, но вместо того чтобы умчаться восво-яси по своим делам, и забыть всю эту дуристику через десять минут, «русский» справедливец Бибербах развернул машину поперек дороги и остановил колонну полностью. Потом вышел из автомобиля и со словами: «А ну-ка вылазь, говнюк, сейчас мы с тобой правила дорожного движения разучивать будем», – направился пружинящей походкой к озадаченному придурку, который все больше и больше удивлялся по мере того, как его отрывали от руля, выволакивали за шиворот наружу и «отоваривали» при всем честном народе от имени святой матушки-Справедливости.

Без увечий, но больно – исключительно ради выработки устойчивого условного рефлекса – отмутил Женька придурка; отшлепал аккуратно, педагогично, строго в рамках науки логопедия, в соответствии с которой, как известно, «гундосых учить надо». И ведь что самое главное: Женька делал это не ради себя самого, но ради других: ради страдающей колонны автомобилистов, ради немецкого народа, (да ради всего человечества, черт побери!), только что ставшего свидетелем величайшего непочтения к себе, наглого пренебрежения всемирно известным немецким порядком. В принципе, каждый в колонне, положив руку на сердце, был с Женькой солидарен. Происходит дело в России, к Женьке при подобных обстоятельствах немедленно подскочило бы еще несколько «докторов»: внести свой личный вклад в процесс воспитания. Но то – в России. А это была законопослушная Германия. И коренной немецкий народ повел себя принципиально иначе: пока Бибербах «логопедил» немца, кто-то из колонны позвонил с мобильного в полицию, и не успела Женькина лечебная педагогика завершиться чисто-сердечным обещанием говнюка никогда-никогда-никогда так больше не делать, как примчался зеленый «Мерседес» с синей мигалкой на крыше. Бибербах очень обрадовался: вовремя подошли, молодцы; сейчас они вправят мозги этому дорожному шутнику! Так что готовь права, засранец. Женьке на миг даже премия померещилась и хвалебный сюжет в вечерних новостях. Наивный, наивный Женя Бибербах! Что называется – закатай губу обратно и интегрируйся дальше в цивилизованное общество. Права отобрали как раз у него самого. Да еще и полтора года дали. Слава Богу – только условно. А говнюк – тот и вовсе двойное удовольствие получил в результате: и колонну подержал всласть, да еще и «русскому хулигану» шикарную, совершенно незапланированную гадость сотворить удалось. На глупый вопрос Бибербаха: «Как же так?»,

судья объяснит ему позже, что в федеративной республике Германия осуществление наказаний есть исключительная прерогатива государства, равно как и обучение гундосых, равно как и все остальные функции в стране, окромя уплаты налогов строго в срок и в полном объеме: это – почетная обязанность каждого отдельно взятого гражданина-налогоплательщика. Бибербах ушел из суда, повесив уши и с трудом переваривая удивительную истину: германская наука логопедия совсем другая, оказывается, чем российская. В гундосых остался, таким образом, он сам. Это был очень сильный интеграционный урок для Ойгена Бибербаха.

Однако, интеграция – процесс длительный. Минуло два года. Большой путь проделал за это время герр Ойген Бибербах по тернистой тропе интеграции в цивилизованное общество. Много разных событий произошло в его жизни. Но кое-что новое произошло и в жизни говнюка. Так, однажды, среди бела дня вспыхнул и сгорел дотла его новый дом, кредит по которому ему выплачивать предстояло аж целых пятнадцать лет еще. Астрологу, к которому обратилась безутешная жена говнюка, вычислить отчего загорелся дом не удалось, но зато его звезды и планеты однозначно указали, что гореть будут и все следующие дома говнюка. После чего семья говнюка, продав земельный участок румынам подозрительного вида, а золу пожара фабрике калийных удобрений, переехала жить назад на аренду.

Да, другие они будут в Германии, эти немцы, которые приедут из России, совсем другие. Однажды Аугуст Бауэр вступится в вагоне-«буммеле» – электричке местного значения – за пожилого пассажира, выбросившего на всем ходу журнал в окно поезда. Контролер, шедший по вагону, это безобразие засек и придрался (в «буммелях» публика ездит, как правило, попроще, и контролеры с ней не церемонятся. Это в первом классе дорогого скорого экспресса контролер может и мимо дремлющего пассажира пройти, не проверив билета, чтобы не побеспокоить, не разбудить, не досадить своей служебной бестактностью уважаемого человека). Короче, контролер придрался, а мужичок оказался «казахским» немцем, и стал оправдывать свою странную выходку криком: "Susliken!".

– Susliken! Susliken retten! – кричал он возмущенно, и крутил пальцем у виска: «Во!». Бауэр, сидящий напротив, заявил контролеру, что этот герр упустил журнал за окно случайно, желая забросить его на полку-сетку над головой. Контролер посмотрел на Бауэра, как на пособника международного терроризма. "Das glaube ich nicht...", – попробовал он возражать, – ich hab's mit eigenen Augen gesehen...". («Этого не может быть: я все видел собственными глазами»). – "Doch!", – грозно не согласился Бауэр, и контролер сдался, не стал спорить: свидетель есть свидетель.

– Danke, – сказал мужичок-старичок, когда контролер отвалил с поджатыми губами и полной фуражкой негодования.

– Не за что, – ответил ему Бауэр по-русски, – а зачем Вы журнал-то выбросили, если почетному?

– Дак вон, – обрадовался попутчик земляку, – прочитал я в этом журнале ихнем: сусликов они требуют спасать! Деньги собирают на какую-то красную книгу для сусликов. Общество спасения сусликов, понимаешь ты! Да я этих сусликов своими руками, по двадцать штук... они мой хлеб жрали! Самого меня никто не спасал... сволочи! А им сусликов спасать надо!

– Да, но Вы же здесь, в Германии, – деликатно напомнил Бауэр, – спасли ведь Вас, получается...

– А, – махнул рукой старик, – теперь уже поздно. Шкура моя – вот она. А народ мой где? Нету!

– Ну, за это у других контролеров спрашивать надо, не у этих здесь, – махнул рукой Аугуст Бауэр в сторону востока.

– Тоже правда, – тяжело вздохнул старик, – все виноваты! Сойдем выпьем чего-нибудь? У меня пенсия хорошая. А ты откуда? Не джамбульский ли? Где-то я тебя видел. А я – из Джамбула... А еще раньше – с правого берега, из Карл-Маркс-Штадта...

В Германии старый Аугуст Бауэр, сидя на берегу Рейна и наблюдая за чередой барж, идущих вверх и вниз по течению, обретет привычку размышлять о сути вещей, о России, о Германии, о загадочной роли человека, отведенной ему природой и Богом, и об эволюции, и о деградации – обо всем. И еще раз констатирует однажды, что Россию больше не узнает, не понимает и не ощущает.

Печальная мысль эта возникнет у него в результате одной забавной встречи со случайным русским туристом, подсевшим к нему на скамейку. Турист сильно обрадовался, обнаружив, что немец рядом с ним умеет говорить по-русски. Турист оказался любопытным и хотел все знать про город, в котором остановился, и про крепость на горе, и про кайзера Вильгельма на огромном памятнике: из какого металла он отлит и сколько тонн весит. Аугуст стал ему все это рассказывать, в том числе поведал и о ежегодном большом празднике «Рейн в огнях», на который съезжаются туристы со всей Германии. Также описал Аугуст любопытному русскому великолепный салют из крепости, который длится иной раз до получаса. «Всего-то? – удивился турист, – а у меня напротив дома директор минирынка день рождения жены на прошлой неделе справлял, так салют в десять вечера начался и в шесть утра закончился. Весь город не спал, везде упитые валялись. Да и машины у нас покруче ваших будут: «Мерсы» последних моделей, внедорожники, на Роллс-Ройсах дети наперегонки соревнуются ночами. Только вот стрельбы много во дворах, старики без зубов, смертность растет, а так жить можно. Правда, медицина слабая. Никакая медицина стала: это надо признать честно. Вот, коленку прилетел к вам оперировать».

– Почему? Врачей, что ли, не осталось в России?

– Врачи есть, да хрен его знает к кому попадешь. Иные с купленными дипломами за столами сидят. Оборудования нет. Будешь отстегивать направо-налево до зеленых волдырей, а гарантии все равно никакой, что тебя вылечат. В лекарствах талк один напихан. Говно сплошное. За все это отстегивать – пальцы сохнут со злости, честное слово!

– Как это – «отстегивать»? Что отстегивать?

– «Зеленые» – что же еще? «Деревянные» – рубли то есть – никому не нужны. Беня Франклин в почете...

– Но ведь в Германии операции очень дорого стоят. Или у Вас страховка есть медицинская здесь?

– Какая еще страховка! Нету, конечно. Да, дороговато, спорить не стану. Сорок тысяч насчитали. Ну да в России еще дороже получится со всеми боковыми делами. А куда денешься? Жить хочешь – отдай кошелек. Поговорку русскую помнишь?: «Жизнь или кошелек!». С детства в каждой сказке эти слова читали, а смысла их не понимали. Только теперь поняли, что они означают: «не отстегнешь – подохнешь!». Правда, жизнь еще дальше пошла: теперь уже и отстегнешь – все равно подохнешь... Да-а, если подумать хорошенько, то великий философский смысл заложен во всех русских поговорках, скажу я тебе, земляк... А ты откуда русский так хорошо знаешь, папаша? Эмигрант, что ли? По еврейской линии? Или по немецкой?

– По немецкой. А Вы, если не секрет, чем на жизнь себе зарабатываете в России?

– Да так, по крохам... Пара обменников, немножко от недвижимости. Да еще люди дарят, хе-хе.

– То есть как это дарят? Вы что же, прошу прощения – попрошайничаете?

Турист захохотал:

– Ну ты и скажешь, отец... сразу видно – давно из России уехал... Нет, побираться – не моя стезя. Я – служу. Государев человек, так сказать... А насчет побирušек ты, батя, почти что

в точку угадал, между прочим. Это бизнес прибыльный. Но только не у нас в Эмске; у нас не подают: провинция. А вот в Москве – да. Там это промысел крутой. Только я тебе так скажу, дедушка: которые при этом бизнесе – те сюда коленку лечить не ездят. Те за вашими врачами собственные самолеты присылают. Ваши доктора к нашим богатым людям сами прилетают – вместе со своими томографами-сонографами. Так-то вот. Скоро будете вы опять к нам в гувернантки наниматься... хе-хе... не в обиду вам будь сказано. Но у вас тут все равно лучше. Мне тут больше нравится: сидишь, чисто, никто тебя не трогает...

«Да, – подумает тогда Аугуст, – трудно было российскому немцу после всех мытарств, депортаций и переселений прижиться тут, в Германии, но приведись ему сегодня интегрироваться обратно, в новую российскую действительность – вообще уже не сможет. Все, ушел поезд. Навсегда».

Но всё это будет очень и очень нескоро еще: то будет много лет спустя, в новую эпоху, о которой Аугуст Бауэр из сибирского лагеря для врагов народа ни сном ни духом не мог ведать тогда, на излете войны, да и все остальное человечество – многоцветное и разноречивое – не имело ни малейшего представления о том, что случится с ним к концу столетия и тысячелетия. Ведь на тот момент ни одна атомная бомба не упала еще на голову людей, и ни одна циничная рожа не вещала еще о свободе и демократии как о единственно допустимой форме существования цивилизации; и никто не навязывал еще приближающемуся к трясине глобализма человечеству эту единственно допустимую форму с помощью авианосцев и стратегических бомбардировщиков; с попутным предупреждением о том, что отступление от норм и правил «нашего общего дома», установленных зеленым долларом для всех, является жестоко пресекаемым преступлением планетарного масштаба – предупреждением, выраженной в миллион раз знакомой форме: «Шаг влево, шаг вправо: попытка...», – впрочем, вот это, последнее, узнаваемое, и будет, возможно, тем единственным соединительным элементом, через который осуществится живая связь прошлого с будущим, неразрывная связь времен и народов...

* * *

Последний год в трудармии, сорок пятый, был самым трудным. Не только из-за накопившейся смертельной усталости, отоспаться от которой можно будет, казалось, лишь на том свете, но еще и от растущей муки душевной: война уже ушла с территории страны, остатки фашистов гнали уже по всей Европе, а в лагерях ничего не менялось: просвета не было. Тонкий лучик надежды, вместо того, чтобы разгораться в виду неизбежной и скорой, окончательной победы над общим врагом, наоборот – начинал замирать. И еще: особенно обидно было загнуться после всех этих страшных лет, у самого порога Победы. Все эти годы везенье жило рядом с Аугустом и спасало его, но где гарантия, что однажды оно не покинет его? Ведь все продолжалось по-старому: гигантские нормы выработки, скудные пайки, недосып, недоед, охрана, собаки, шмоны, прожектора, карцер: все продолжалось.

На стороне Аугуста был теперь опыт, это правда. Он помогал выжить наряду с везеньем, но везенье все равно оставалось важной составляющей лагерной жизни. Опыт был основой выживания, везенье же – его капризом, способным одним своим дуновеньем свести любой опыт на нет. Но с везеньем Аугусту повезло тоже. Потому что сплошным и продолжительным везеньем считал он свою принадлежность к бригаде Буглаева.

Буглаев был настоящим командиром. Командиром штрафников, который вместе со своим батальоном идет в бой, четко понимая, что каждый в этом бою зависит от каждого. Однажды, много позже, в мирные времена, под праздничную рюмку Аугуст, размягченный сердцем, именно так и высказался, но тут же и разозлился сам на себя за помпезность про-

изнесенной фразы, за ее штампованную искусственность. Да, конечно, так оно и было с Буглаевым, но только без всей этой победоносной стали с развевающимися над нею флагами. В реальной жизни все было гораздо проще, грубей. И Буглаев тоже был достаточно прост в обращении, и груб, и циничен. Более того: Буглаев часто бывал жесток, но он, в отличие от многих бригадиров вкалывал сам как раб, успевая при этом дирижировать своим отрядом, все замечая, постоянно перераспределяя нагрузки, давая слабым набрать сил, не потерять последние. У себя в бригаде он создал нечто вроде продовольственного резерва, и делал все возможное для его пополнения. Принципы использования этого резерва могли показаться дикими даже опытному зеку, ибо дополнительную пайку из него получали не ударники, а наоборот – самые слабые трудармейцы. Разумеется, только при условии самоотверженного труда с их стороны, с полной отдачей, без халтуры: на это у Буглаева глаз был очень острый. Таким образом, бригадир регулировал силы своей бригады. В результате бригада ему доверяла абсолютно и подчинялась беспрекословно. Криков, ожесточенных споров или разборок с рукоприкладством в бригаде у Буглаева не бывало никогда. Поскольку бригада Буглаева всегда давала план, то самому бригадиру многое прощалось со стороны начальства: и подбитый глаз инога не поладившего с Буглаевым учетчика, и «ошибочное» смещение делянки метров на сто в сторону более «наваристого» леса и даже, однажды, взлом шкафа на кухне и воровство маргарина для заболевшего Петера Зальцера, который стал кашлять кровью.

С Буглаевым было связано у Аугуста одно очень личное воспоминание, не пригодное для широкого оповещения, воспоминание тайное, которое лучше всего, вспомнив, тут же и забыть.

Был момент, когда на зоне вызрела критическая ситуация, связанная с блатными. Дело в том, что блатные на лесоповале не работали, не желали работать: это было против их «закона»; они «гоняли балду» на внутренних работах. Горецкий с этим согласился, скрепя сердце. Не потому, что сочувствовал блатному «закону», а потому, что отлично понимал: ждать от урок плана по валке леса – это все равно что требовать от козла надоев; рвануть же из леса на волю уголовники могли в любую секунду. Поэтому куда верней было держать их за «колючкой».

Общий план лесозаготовок спускался лагерю, между тем, от списочного числа душ – так же как и в ерофеевском, как и везде на лесоповальных зонах. И вот «ножницы» рабочих рук начали сходить: с одной стороны, критической черты достигло число «доходяг», не способных работать на лесоповале, которых надо было устраивать внутри лагеря; с другой стороны, почти прекратилась подпитка лагеря свежими рабами: новых «врагов народа» из числа «фашистских пособников» с освобожденных Красной армией территорий на все лагерь пока не хватало; между тем план лесоповала был все тот же, и даже в кругах местного партийного руководства возникали постоянные инициативы по его увеличению; так, в последний раз было предложено сделать трудовой подарок ко дню рождения товарища Сталина. Куда было деваться бедному Горецкому: не откажешь же товарищу Сталину в подарке? Что ж, подарок сделали – ценой двух десятков новых доходяг, требующих в результате трудоустройства внутри лагеря. И тут урки сделали роковую для себя подачу: зарезали двух «конкурентов» из числа доходяг, приставленных на хозяйственные работы из числа «лесных дистрофиков».

Горецкий рассвирепел люто, и решил показать уголовникам «кто в доме хозяин». Трех урок сунули в карцер на тридцать суток, одного расстреляли, а остальным объявили «мобилизацию»: в лес, сучары, кедры валить лобзиком!

Но только как заставить блатных работать? Это все равно, что уговорить рака летать: махать клешнями он, может, и будет для виду, но толку-то... Прецеденты уже были. Так, в соседнем лагере, где ситуация была похожая, уже выводили блатных в лес под автоматными стволами. Те с хохотом спилили два дерева для отвода глаз, дождались обеда и разбежались потом в разные стороны. Пристрелили при побеге и поймали лишь жалкую горстку. Нет, блатных в лес выпускать нельзя – это знал каждый начальник лагеря.

Но Аграрий Леонтьевич Горецкий для того и был умным, чтобы придумать выход: он рассовал блатных по разным бригадам, а на бригадиров возложил ответственность за побег. Это была чудовищная головная боль для бригадиров, но деваться было некуда, и приходилось с блатными возиться, тратя на них время и нервы. Хоть одно хорошо: в лес посылали уголовников с малыми оставшимися сроками. Которым выгодней было дожидаться «звонка», чем бежать. Одного блатного подключали к звену лесорубов-трудоармейцев из ребят покрепче, и те должны были уголовника воспитывать и следить за ним, чтоб не улепетнул; в случае чего – немедленно звать охрану.

В лесу – ладно, куда ни шло, но в жилых бараках нормальные люди терпеть рядом с собой блатных отказались категорически, поэтому стало так: блатные спали у себя, в «блатном» бараке, а утром, на плацу, мрачно сползались и становились в строй соответствующей, прописанной им бригады. Обычно на бригаду в тридцать – сорок человек приходилось по пять-шесть блатных. Ясно, что внутри звеньев отношения с блатными складывались трудно: происходили сплошные скандалы с мордобитиями, однако тут, в лесу блатные были в меньшинстве, тут была не их «акватория», и они кое-как подчинялись. Но толку от этого нововведения Горецкого все равно было с гулькин хрен: блатные не работали – только вид делали. В результате их норму все равно приходилось вытаскивать всей бригаде. На этой почве участились внутри бригад конфликты с поножовщиной, и блатное шипение с угрозами ночью разобратся наполняло лес новыми, непривычными звуками. И это были не пустые угрозы: стали гибнуть звеньевые, и даже одного неплохого бригадира закололи ночью гвоздем в шею. Передвигаться по зоне в одиночку трудоармейцам, в том числе рядовым, стало небезопасно. В лесу блатные, увиливая от работы, пытались запугивать своих «воспитателей», и не у каждого хватало смелости и злости противостоять этим угрозам. Во многих звеньях поэтому урки в лесу «балду гоняли»: курили, балаганили, надсмехались над трудоармейцами; при этом не работали, разумеется, а сидели в сторонке, на пеньке, или топор швыряли в ствол от нечего делать. Иной раз уголовные откупались от труда жратвой: такое тоже бывало, но редко; в основном действовали угрозами.

Такова была обстановка, в которой работал тогда Аугуст. Его звено состояло из трех человек: звеньевое Наггера Александра, Курта Шульца и его, Аугуста. Наггер, кстати, как раз и был тот самый экзотический немец, Герой Советского Союза, летчик, у которого отобрали звезду «Героя» и загнали на лесоповал. Экзотическим Наггер был одновременно по многим параметрам – не только потому, что стал наверняка первым немцем, получившим «Героя» и уже через месяц после вручения награды лишившийся её; главной экзотикой Александра было другое: его фамилия. По-немецки его фамилия писалась: "Nachher". При точном переводе это слово означает «потом, после»: в русской интерпретации фамилия должна была бы звучать типа «Потомкин», или «Позжеев».

Однако, когда он, немец Поволжья в тридцать пятом году получал паспорт, какой-то канцелярский болван перевел его фамилию побуквенно и позвучно, и вместо того, чтобы написать, например, Наггер или Наэр, внес в паспорт: «Александр Нахер» Это написание перекочевало затем и в анкеты при поступлении в летное училище, и стало сущим проклятием Александра во время учебы. «Ваше полное имя?». – «Александр Нахер». – «Этто что еще такое? А без мата нельзя?». – «Это моя фамилия, товарищ командир: Нахер». – «Да? А моя – подполковник Попов, нахер. Примите три наряда вне очереди за наглость, курсант Александр!». Это была мука мученическая. Но у фамилии Нахер оказалась в условиях России и положительная сторона: за эту фамилию Сашку все в эскадрильи обожали. За постоянный сопутствующий ей юмор. «Взлетаем, Нахер?». – «Взлетаем, нахер!». И еще один плюс проявился в связи с этой фамилией, когда началась война: никто не заподозрил даже, что Александр – немец. Вырос он в смешанном, русско-немецком селе, говорил по-русски без акцента, так что его часто спрашивали, не боярского ли он рода корнями своими. «А не боярских ли ты кровей,

Нахер? Уж больно фамилия у тебя державная». – «Да нет, ребята: скорей моих предков глупые люди дурацкими вопросами слишком часто бомбили: от ответа на них и пошла наша фамилия».

Фамилия Александра и в лагере производила юмор на каждом шагу. Например, дежурный, утром: «Подъем!»... Бригада: я сказал подъем, нахер!..». Александр поднимается, кряхтя, все остальные продолжают лежать. Дежурный злится: «Я сказал: общий подъем, нахер!». – Голос с нар: «Ну так сразу бы и объявлял, придурок, а то мы думали, что одному Сашке подъем, гы-гы-гы...». Или еще случай, с офицером из новеньких: заходит в барак и спрашивает: «Кто от вашего барака по пищеблоку дежурит?». Голос в ответ: «Да вон он уже пошел: Нахер».

– Кто пошел нахер? Я пошел нахер? Не нахер, блядь, а веник в зубы – и бегом! Мухой, блядь! А то я вам такой «нахер» щас устрою, блядь, мать вашу переёх, срань рваная...

– Рвань сраная, – поправляет его кто-то во глубине барака.

– Правильно, нахер: и так можно!..

Вообще-то Сашка был большой весельчак и заводила в долагерной жизни, но история с «Героем», арестом, лишением звания и депортацией в Сибирь сильно испортила ему характер: его веселье перепрело в язвительность, его бодрость – в злое нетерпение выйти из лагеря и доказать свою невиновность, вернуть свою звезду «Героя», а вместе с ней – и честь свою офицерскую обрести назад, и русско-немецкое достоинство свое. «Я им докажу, гадам!», – клялся он. «Ты им, конечно, все докажешь, Нахер», – соглашались, граждане зеки, слегка усмехаясь.

Сашка Наггер-Нахер был летчик-истребитель от Бога, и заслужил «Героя» в честном бою, в котором сбил фашистского «Юнкерса» и двух сопровождающих его «мессершмитов», причем в бешеной схватке был подбит сам, но сумел «доковылять до дома», – как он выразился. Комполка лично был в том бою, все видел лично, тоже вернулся в лохмотьях, и тут же представил Наггера к «Герою». И вдруг однажды, не успели еще толком звезду «обмыть», вызывают Наггера в штаб, и видит Александр, что два особиста собачатся там со злым как собака командиром полка по его, Александра поводу. Тут же и к Наггеру приступили: «Почему утаил, что немец, почему Партию обманул?». И старую анкету перед ним бац на стол, где в графу национальность Наггер внес когда-то: «русский немец». Плакала, что ли, штабная крыса какая-нибудь над анкетой этой, или просто соплю уронила, но только слово «немец» в строке расплзлось от капли, хотя и вполне читалось еще, если знать что написано. Однако, особисты не к слову «немец», а к слову «русский» придрались: «Ты не русский оказался! Ты оказался немец. Все немцы по закону должны быть депортированы! Ты Родину обманул!». Наггер давай орать на них: «Я с Поволжья, мать вашу, а это – Россия, там деды моих родителей родились, потому я и написал не просто «немец», а «русский немец». А особисты в ответ: «Врешь, гад, это ты следы так заметал, слово «немец» размыл, чтоб не читалось! Нет такой национальности – «русский немец»! Есть или «русский», или «немец»! «Сдай оружие! Ты арестован!». Сашка им: «Сволочи вы! Я фашистов сбиваю каждый день! Я – Герой Советского Союза». А один из особистов – хватить его за звездочку: «Снимай, гад! Ты уже не герой больше, ты – враг теперь!». Ну, Александр пистолет выхватил в бешенстве – и давай палить у них над головами: «Пристрелю, сволочи!»... Тут вообще: содом и гоморра до потолка полкового блиндажа. Сам комполка Федоров на Сашку с объятиями кинулся, чтобы он особистов не пристрелил в запале. Но, однако, Сашке и этого подвига хватило на высшую меру: ну-ка – нападение на представителей отряда СМЕРШ при исполнении. Комполка – золотой человек, настоящий боевой офицер – до командующего фронтом дошел, чтобы Наггера, своего лучшего аса отстоять, от смерти спасти. До того докричался полковник, что сам чуть в штрафбат не захрохотал, но летчика своего спас. Правда, только от смерти; уберечь от статьи и лагерей оказался бессилён. Даже генерал из штаба фронта ничего поделывать не смог: Наггер-то не отказывался, что он – немец. А немец

должен служить в трудармии. Даже если он летчик. Вот и пусть летает на топоре верхом... И сорвали с лихого летчика Сашки Наггера погоны и звезду «Героя», и оформили ему путевку в лагерь за городом «Свободный», и стал он после долгих лагерных приключений лесорубом и звеньевым в бригаде у Буглаева.

Вот к этому геройскому звену и прикомандировали на трудовое воспитание блатного по кличке Болт. Этот хренов Болт был тяжелый случай. Болт в уголовном «обществе» состоял в «авторитетах» и работать поэтому отказывался наотрез. В лес он ходил только потому, что по последнему сроку ему оставалось сидеть меньше года, а Горецкий пообещал уклонистам от леса и филонам еще пятак довеском. Болт подчинился, скрипя зубами. Но в лесу он сразу предупредил Наггера: «Жить хочешь, из лагеря выйти хочешь? Тогда отвали от меня, и даже не смотри в мою сторону: пахать не буду». Наггер, которому единственной целью жизни втемяшилось вернуть свою звезду «Героя», решил не рисковать, и оставил Болта в покое. Проблема была только одна: дневной план Наггеру с Аугустом теперь нужно было гнать фактически за четверых, потому что Шульцу в последние дни было совсем плохо: то понос у него открывался розовый, то рвало его до посинения; и по лесу ходил Шульц, как пьяный: качался и падал. Пора было его в доходяги списывать и в санблок определять, но Шульц, не желая выпасть из бригады Буглаева, упорно продолжал тащиться в лес вместе со всеми и кое-как «участвовать»: на обрубке сучьев, в основном.

А Болт сидел на пеньке, покуривал. Уже на пятый день такого сотрудничества Аугусту с Наггером стало невмоготу: они не справлялись вдвоем, они уже бегом работали. Работа была такая: они делали подпил или подруб – в зависимости от толщины ствола – со стороны направления валки дерева – формировали «ломоть», а потом пилили дерево лучковой пилой в плоскости верхней кромки подпила с другой стороны ствола. Иной раз надо было подстраховать направление шестом, или слегой – тонким, подручным стволиком с рогатиной, которой третий вальщик упирал в ствол и давил в нужную сторону. Все это можно было сделать и вдвоем, конечно, но тогда на это уходило в два раза больше времени, и дневной план начинал гореть синим огнем.

Звену как раз попалась делянка с деревьями, «глядящими» в неправильную сторону, и вальщикам требовалось думать о дальнейшем: как валить, чтобы удобно было обрубать, кряжевать, трелевать. Пилу при подходе к середине ствола могло поэтому зажать, и обязательно требовался один на слеге. Шульц, зеленый лицом, уже опять блевал в сторонку, и Наггер крикнул Болту: «Ваше величество, не побрезгуй: надави на слегу, а то пилу зажмет сейчас». «А пусть вам хоть яйца зажмет, мне-то чего?», – весело огрызнулся рецидивист, – вон дохляк проблюется щас, да и вырвет вам дерево с корнем, ага...». От былого истребителя в характере Наггера еще оставалось немного вспыльчивости. Сашка бросил пилу и пошел к пеньку, на котором сидел Болт:

– А ну, иди к слеге, сучара блатная...

– Что? Все уже? Уже и жить расхотел? Так быстро? – удивился Болт, нагло скалясь, – иди пили дальше, тля поганая. На первый раз – я ничего не слышал. Я сегодня добрый. У меня сегодня день рождения, га-га...

– Курт, иди-ка за бригадиром, объяви ему ЧеПе: уголовный от работы косит, на пятерик напрашивается. Пускай его к Горецкому ведут. Прямо сейчас.

Шульц послушался Наггера и побрел в сторону тракторного шума: там уже таскали хлысты, и Буглаев был там.

– Слышь, летун: ладно, заметано. Ради моего дня рождения. Подсоблю. Че делать-то? Куда давить? Покажь, – Болт слез с пня и вразвалочку двинулся вслед за Наггером, по дороге подобрал с земли топор. Сашка оглянулся, сказал: «Топор не нужен, руками, весом давить

будешь». Но Болт топор не бросил. Подошли к слеге. Наггер поднял шест, установил, упер в ствол, приказал Болту: «Вот так дави, всем телом». Вернулся к пиле. Они с Аугустом стали пилить дальше. «Дави сильнее, а то на тебя же и грохнетя!», – пригрозил Сашка, и Болт надавил сильнее, усмехаясь: «а как же с твоим послем быть, который за пятериком пошел для меня?». – «Будешь работать – все простим. Дави!». Пропил начал шириться, крона зашевелилась, двинулась, пошла, затрещала древесина, Аугуст с Наггером отскочили в сторону, и дерево повалилось в нужную сторону, взметая короткий вихрь лесного праха и обнажая неожиданно яркий клочок неба.

– Бабах! – сказал Болт.

Дальше было так, Аугуст все видел четко: Наггер пошел к слеге, чтобы забрать ее, занес ногу, чтобы перешагнуть через ствол, и в этот момент Болт, стоявший рядом, ударил его обухом топора по ноге выше колена. Сашка завалился набок, закричал, держась за ногу, а Болт стоял рядом с ним и скалился во всю пасть: «Ай-яй-яй: несчастный случай на производстве! Ай-яй-яй – какая невезуха на оба уха!..». После этого Болт подошел вплотную к Аугусту и уже без улыбки, сведя глаза в щелочки, сказал: «Запомни, немчик: слегда упала, по ноге ударила пилота, сшибла мессершмита, а заключенный Болтыков первым бросился на помощь, хотел даже искусственное дыхание делать... Ты все понял? Запомни наизусть, сука гитлеровская, а то до утра не доживешь. Зуб даю...». Аугуст оттолкнул его и бросился к стонущему звеньевому. Наггер был бледен как полотно, весь в белом поту: «Ногу мне сломал, падла гнилая: кость шевелится...». Аугуст схватил топор, побежал вырубать ветки для лубка: «Терпи, Саша, не шевелись: сейчас закрепим, бригадир скоро будет. Не шевелись, я сейчас»... Между тем Болт уже снова восседал на своем пеньке и криво ухмылялся: «Поставь ему клизьму, ганц! Очень помогает от этой болезни...». При этом уголовник постоянно озирался в сторону тракторного шума и сплевывал: очко у него все-таки поигрывало на всякий случай...

Минут через десять появился Буглаев в сопровождении Шульца.

– Что тут?

– Несчастный случай, шеф! – нагло доложил блатной, хотя спрашивали не его. Бригадир подошел к лежащему Наггеру: «Что случилось, Саша?». Тот отвел глаза: «Слега упала... неудачно... не увернулся...». Буглаев повернулся к Аугусту: «Так?». Аугуст посмотрел на уголовника. Болт ухмылялся. У Аугуста потемнело в глазах.

– Этот. Обухом топора. Я все видел. Нам обоим пригрозил: ночь не переживем, если правду скажем.

– Брешет, сука. Ничем не докажете. Ты и сам не вечный, блядь! – завизжал Болт бригадиру, – а ты, ссука, – повернулся он к Аугусту, – ты можешь себе уже сейчас яму копать. Прямо тут. Вы мне пятерик? – ладно! А я вам – вечную память от имени блох и вошей... Век свободы не видать! Ссуки!

– Не кипятись, Болт, – спокойно сказал Буглаев, – никто тебя еще не сдал; чего орешь зря? Несчастный случай – так несчастный. Мой вопрос: кто теперь норму по вашему звену делать будет? Меня только норма колышет, все остальное мне – по фиг...

Аугусту было странно такое слышать от бригадира, но Аугуст видел: Болт заметно успокоился.

– Меня не скребет – кто вам норму делать будет, – буркнул он, – для этого ты тут голова, а не я.

– Ладно, хрен с тобой: не хочешь – не работай. Только вот что, Болт: мы все забыли, но и ты тоже все забыл. Ребят моих не трогать. Идет?

– Подумаю и решу.

– Ну и ладушки. Теперь с тобой, звеньевой... Аугуст, добавь-ка ему еще одну жердину, с нижней стороны... на, возьми мой ремень... Так, Шулец: тебе повторное курьерское поручение

чение: иди к тракторам, скажи... – Буглаев взял Шульца за рукав и повел в сторону, диктуя дальнейшие инструкции, и Аугуст видел, как Курт удивленно вскинул голову на бригадира, но тот лишь подтолкнул его в спину: иди давай.

– Ну, чего стоишь, Бауэр: пока наш раненый отдыхает, пошли с тобой валить дальше: у нормы перекуров не бывает. Бери инструмент... Давай-ка вон ту свалим для начала... как раз на открытое место упадет... удобно...

И снова удивился Аугуст: дерево, которое выбрал Буглаев, было совершенно неправильным для валки: оно упало бы крест-накрест на другие, и затруднило этим трелевку и вывоз. Но Аугуст был уже достаточно долго в лагере: он промолчал. Болт вообще ничего не соображал в лесоповале, поэтому даже не насторожился, когда Аугуст с пилой и топором, и вслед за ним Буглаев с ломиком и колуном пошли к следующему дереву – как раз мимо пенька, на котором сидел блатной.

Аугуст уже миновал уголовника, когда услышал вдруг короткий, хрясткий, смачный шлепок позади. Он оглянулся: Болт заваливался с пенька, Буглаев опускал руку с ломиком. Бригадир увидел испуганные глаза Аугуста:

– И что за день сегодня! – спокойно посетовал Буглаев, – второй несчастный случай подряд! Давай-ка мы его к сосне оттащим, что вы спилили только что...

– А может он еще?...

– Нет, ты что?: шея переломана... такой удар... Этож надо: прямо под сосну угодил всеми четырьмя лапами! Говорили ему: «Работай, не бегай кругами, как пес... Как собака и сдох...», – такова была последняя эпитафия уголовнику по кличке Болт, отдавшему жизнь свою за советскую родину на лесоповале.

Потом прибыли два солдата конвоя, им было доложено про несчастный случай, причем они узнали от Шульца, что пострадали двое, вслед приполз трактор, нацепил хлыстов, поверх которых кое-как соорудили платформу для транспортировки раненого Наггера и мертвого Болта, и отправили две жертвы несчастного случая в сопровождении одного из конвоиров в лагерь. А работа пошла дальше. До конца дня Буглаев трудился в паре с Аугустом, а Шулец кое-как давил на слегу.

Со стороны блатных последствий не было, и Александр Наггер благополучно отлежал свое в санблоке. А потом к нему спустилось с авиационных небес чудо: возможно, что одно из его бесконечных писем «наверх» дошло по назначению: Сашку Наггера вызвали в Москву, в распоряжение летной части: подходила пора брать Берлин, тыловая «оборонка», для которой зеки постоянно собирали деньги, наклепала новых самолетов, а подготовка летчиков не успевала за заводскими конвейерами. Летчики становились на вес золота, в отличие от лесорубов, которые стоили дешевле древесины. А Наггер все-таки был летчиком: Партия это помнила. Партия вообще никогда ничего не забывает...

Он едва успел попрощаться – так быстро все произошло: утром, еще до развода трудармейца Наггера, уже вернувшегося в бригаду, вызвали в контору, и оттуда он вышел... в летной форме и с совершенно растерянной мордой! Пока еще без звезды и погон, правда. «Бегом, лейтенант!», – крикнул ему приезжий офицер со стороны лагерных ворот, ведущих на свободу, и Наггер, кажется, не сразу понял, что это к нему относится.

– Саня, беги пока они не передумали, – крикнул Буглаев из шеренги хриплым голосом. Наггер кинулся к нему, они обнялись коротко. Охрана не возражала. Глаза у Наггера были сумасшедшие и бестолковые одновременно. Аугуст тоже помахал ему из строя, но тот, кажется, не заметил даже.

– Скорей! – торопил офицер у ворот.

– Лети на Берлин, Нахер! – толкнул Буглаев пилота, и тот побежал.

– И полечу, нахер! – завопил он уже от ворот, и все засмеялись, включая вохру.

Больше Аугуста жизнь с Сашей Наггером не сводила. Долетел ли он до Берлина как мечтал? Вернул ли свою звезду «Героя», или новых звезд себе навоевал?

Лишь однажды, много-много лет спустя, в поезде, в случайном разговоре случайных попутчиков, услышал Аугуст, что имеется где-то в средней Азии летчик по фамилии Нагер: летает на «кукурузнике» и саранчу травит. Но никаких подробностей Аугусту выспросить у пассажиров не удалось. «Не Герой ли Советского Союза?», – хотел он знать. Но попутчики лишь удивились: «Это за саранчу-то?». Они и возраста летчика назвать не могли: просто в газете про него читали: мол, немец по национальности с фамилией Нагер кучу саранчи переморил. И фото возле кукурузника: то ли старый, то ли молодой – на фото не разобрать. «Вряд ли Сашка, – подумал Аугуст, – тому, если жив, за шестьдесят уже быть должно. А может, это сын его летает, или внук – следующие поколения «русского немца», авиатора Александра Наггера, Героя Советского Союза. Что ж, может быть так оно и есть. Ведь в стране, для которой нет ничего невозможного – все возможно!

И вот шел уже сорок пятый год, и ждать конца войны становилось с каждым днем все невыносимей. Хотя житья весной сорок пятого зекам стало заметно легче – почти вольно им стало житья в сравнении с былыми временами. Лагерь трудармии все еще оставался за колючей проволокой, разумеется, за оградой, при вышках и собаках, но уже действовал в режиме десятичасового рабочего дня и с тяжелыми, но не убийственными нормами выработки. Мало этого: отдельным стахановцам даже разрешили вызвать семьи и поселиться снаружи лагеря, в деревне; главное – быть утром на разводе, вместе с бригадой. «Жить стало легче, жить стало веселей!» – произнес по этому поводу И.В.Сталин. Действительно, помереть в таких условиях было бы особенно обидно. Очень хотелось пережить бессмертного Сталина, и посмотреть что будет потом, после него.

Опять же – почта. Теперь, в конце войны она приходила еженедельно, и самому можно было писать без ограничения. Только вопрос – кому, куда? Аугуст не знал. Поэтому в поисках матери и сестры он начал писать запросы наугад, в Сыкбулак, в Чарск. Все безответно. Надежда и разочарование задавали ритм настроению в такт почте, приходящей по субботам.

А тут еще слух пошел, что скоро начнут трудармию расформировывать. Жизнь в лагере стала совершенно невыносимой на этом сквозняке свободы, потянувшем с воли. Эта тема – свобода! – создала постоянную, напряженную атмосферу в бараках. Как ни странно – атмосферу весьма агрессивную: каждый боялся не дожить до свободы, а лагерный опыт подсказывал, что даже при самом удачном раскладе до воли доживут не все. Возникла конкуренция на выживание, с упорной борьбой за каждый дополнительный шанс. Даже мирный, немногословный Аугуст подрался однажды по ничтожному поводу или вообще даже безо всякого повода, просто ответив на чей-то грубый толчок не менее остервенелым тычком кулака. Нервы были у всех на пределе, в том числе и у бригадира Буглаева, который ни с того ни с сего вдруг взвизывался – особенно в адрес учетчиков, которых он теперь постоянно обвинял в занижении кубов его бригаде в пользу других бригад. Наверно, в его обвинениях была правда, потому что такого рода дела процветали в лагере всегда и дирижировались самим начальником лагеря, но почему Буглаев «сорвался с цепи» именно сейчас? Объяснение было одно: нервы. Подстрекательными этими раздерганными нервами, Буглаев отхайдакал в конце концов одного из учетчиков до того, что тот попал в санитарный барак, а сам Буглаев очутился бы с гарантией в карцерной яме, если бы не был столь ценным бригадиром на фоне сильно поредевших рядов лесорубов и хронического отсутствия пополнения.

Все знали, что Победа – уже рядом, но когда однажды в мае на лесную полянку, постоянно спотыкаясь и падая на скользкой дороге, прибежал вдоль насыпи из лагеря один из охранников,

без фуражки и без оружия, и закричал: «Победа! Победа!», это застало зеков врасплох. Они побросали топоры и пилы и окружили охранника, как будто ждали от него дальнейших разъяснений. Но у охранника не было дальнейших разъяснений. «Гитлер застрелился», – добавил он для ясности.

– А Сталин? – спросил кто-то, – что Сталин говорит?

– Не знаю, – сказал охранник, – всем приказано в лагерь, кончай работу..., – и побежал обратно.

Кто-то запел частушку: «...Цветет в тундре алыча для Лаврентий Палыча...», но сбился на крик «А-а-а!..», повернулся и побежал в лес; кто-то обхватил руками медноствольную сосну, которую только что собирался спилить. Несколько зеков молча обнялись. Аугуст просто сел на ближайший липкий пенёк и обхватил голову руками, проваливаясь в пустоту: Победа! Что дальше? Отпустят? Свобода? И что? И куда?...

В лагере произошел в тот день митинг с криками «Ура!» после каждого выступления. А выступлений было много: начиная с начальника лагеря полковника Горецкого и вниз по званиям – вплоть до лейтенанта Чехурды, который крикнул: «Мы победили! Немцы разбиты наголову!». Каждый из выступавших пытался доходчиво объяснить зекам, ценой каких невероятных лишений добыта наша Победа, и зеки каждый раз согласно кричали «Ура» и нюхали воздух: не готовится ли праздничный обед по этому поводу. Но в лагере воняло как обычно: потом, опилками, парашей, собаками и потайным махорочным дымом пополам с запоздалыми гороховыми выхлопами тут и там. Под конец митинга Аграрий провозгласил, наконец, что будет праздничный ужин, и громогласное, тройное «Ур-ра-а-а» в честь великой Победы спугнуло птиц в поредевшей вокруг тайге.

В тот день никто больше не работал, и все оставались на зоне, поэтому охрана была мобилизована в полном составе – на всякий пожарный случай. Вертухаи на вышках стояли по двое. Но все оставалось в рамках порядка. Зеки понаивней собирались кучками и вели перевозбужденные беседы о будущем. Зеки поопытней стирали портянки или заваливались на нары спать: восстанавливать силы, пользуясь неожиданно выпавшим праздником.

До середины лета еще работал Аугуст на победу, которая уже свершилась где-то, а он все валил, валил и валил лес, пока однажды утром, в понедельник 30-го июля на переключку не вышел лично Аграрий и не провозгласил:

– Я собрал вас тут, граждане заключенные, для того, чтобы объявить вам пренеприятнейшее известие... Поступил приказ, короче, который я обязан выполнить, как мне ни тяжело при этом на сердце. В общем, короче, это солнечное утро на этом солнечном плацу для вас последнее, граждане трудармейцы, и ничего я с этим поделать не могу: приказ есть приказ. Время обняться и попрощаться между собой у вас еще будет – почти что целые сутки я вам даю... Вот так вот, – Горецкий чуть не плакал: во всяком случае интенсивно утирал мокрое, красное лицо метровым носовым платком.

Жуткая тишина повисла над лагерем: казалось, вездесущие навозные мухи – и те перестали жужжать на лету, отключили моторы и перешли на режим планирования. Начальник сказал непонятное, это не укладывалось ни в чьей башке... «Почему утро это должно стать последним? За что? Ведь мы победили! Враг разбит! Только недавно еще героями всех обзывал... А сегодня на тебе... Всех, что ли? Всех разом? Прямо тут, в лагере?», – переглядывались зеки...

Первыми, как всегда, очнулись блатные.

– Эй, начальник, а нас что – тоже того? Это как же, в натуре? Это незаконно!..

– А вас не касается, волки вы драные! – с ненавистью в голосе рявкнул в сторону блатных колонн начальник лагеря, – заткните свои хлебала. Вам – свое удовольствие теперь будет по полной программе. Вам теперь – за всех лес валить, и их норму – тоже, – указал он на трудармейцев. Все, уркаганы: с завтрашнего дня эпоха трудового подвига начинается уже для вас. И у вас есть выбор: либо в лес, либо на корневую подкормку...

Вой, и свист, и ор взметнулись над блатною ратью, и по знаку Горецкого сразу трое или четверо автоматчиков ударили очередями над головами урок. Урки повалились на землю, визжа. Трудармейские же ряды все еще пребывали в ступоре: чудовищность услышанного превышала способность информационных каналов протолкнуть услышанное к центрам понимания. Неужели вот так вот просто, дорогой Иосиф Виссарионович? И это и есть твое большое спасибо?

А Горецкий с трибуны, как орел из горного гнезда, обозревал застывшие в ужасе, серые лесорубные батальоны перед собой, и краснел обширной рожей своей все больше и больше. При этом глазки его сияли. Он был доволен достигнутым эффектом. Но ему хотелось еще. Поэтому он закричал опять:

– Понимаю как вам сейчас тяжело, граждане зеки, в этот скорбный момент расставания. А мне каково? Одного ребенка потерять – это уже горе великое, а я сразу две тысячи своих детей должен проводить..., – и Горецкий стал сморкаться в свой платок-скатерть, и сморкался долго и художественно, как Станиславский в Большом театре. Высокую патетику момента испортили, опять же, блатные: «Да здравствует товарищ Сталин!», – кукарекнул кто-то из их рядов. Горецкий поморщился и крикнул автоматчикам: «Не стрелять! Это правильные слова, хотя и дураком сказанные. Но повторяю их и я: да здравствует наш дорогой товарищ Сталин!». Однако, широкие массы на сей раз не откликнулись, и огорченный Аграрий Леонтьевич буркнул сам себе под нос: «Засранцы хреновы...», после чего снова обратился к трудармейцам, сворачивая базар:

– Короче, объявляю всем официально: наш с вами лагерь, граждане трудармейцы, то есть трудармейская его часть с завтрашнего дня расформирована. А сегодня государство наше распорядилось, так и быть, покормить вас еще на халявку, а завтра всё: завтра каши не будет! И долой с моей шеи, и чтоб духу вашего тут больше не было, – глаза у Агрария засверкали с невиданной силой, как у сумасшедшего, и он стал снова сморкаться, но тут же вздернул голову и завопил:

– Эй, там: что там за кипеж опять? Вас все это не касается, граждане уголовные: с вами будет отдельное распределение, вы к трудармии не относитесь..., – в этом месте блатные оглушительно загалдели, засвистели и заматерились, так что охране пришлось от себя, без приказа дать пару автоматных очередей над их головами...

– ...Фашистов отпускаете, а честным ворами дальше сидеть?! – истошно вопили из колонны уголовников, и слышно было, как он рвет ткань одежды на себе, – Ну, ссуки, нну, ссссуки-и-и-и!!!..

– Заткните там хлебало урке своему, а то я сейчас всю малину вашу в одну яму свалю! – рявкнул Аграрий в сторону уголовных, и опять повернулся лицом к трудармейцам:

– Так что ваша героическая работа тут закончилась, с чем я вас и поздравляю от имени руководства лагеря. Бригадирам сдать инвентарь, а после, поотрядно, всем в контору, за справками и за расчетом. Вопросы есть?

– Какие справки? – спросили из первой шеренги.

– Для трудовых книжек. Чтоб стаж вписать. И деньги заработанные получите там же, в конторе..., – В толпе блатных снова поднялся дикий вой.

– Какие еще деньги? – перекрикивая шум, спросил все тот же трудармеец.

– Твой папа дятел с красной головкой, что ли? – закричал на него Аграрий, – не сказал тебе, отправляя в трудармию, что на белом свете деньги бывают? Ты где находишься?: Ты

находишься в «Труд-Армии»! Понятно? Вот за труд в армии ты и получишь деньги. Понятно теперь? Советскими ассигнациями госзнака! В соответствии с законом СССР о труде и на основании ваших отработанных трудовых нарядов... Да пошел ты в жопин домик со своими дурацкими вопросами, остолоп! Остальным всем всё понятно?

– А нас куда?

– Куда хотите, хоть на Марс. Кроме Москвы, Ленинграда, Киева и Поволжья. Проездные документы будут выдаваться сегодня до упора и завтра с восьми утра. Только жрать вам завтра тут уже не обломится, дармоеды. Станете все с завтрашнего дня богатеями и будете дальше на свои питаться, в мягких вагонах ездить... Слушай мою последнюю команду!.. Рразойдись!..

Впервые за три года построений колонны не торопились распадаться по команде, впервые на начальство смотрели из шеренг не хмурые, мрачные рожи, но потрясенные лица, медленно светлеющие по мере постижения улыбающейся им, невероятной, восхитительной действительности. И трудармейцы смотрели навстречу этой действительности, на солнце и друг на друга, и неуверенно улыбались. Горецкий с высоты лагерной трибуны озирает своих рабов с такой интенсивностью во взоре, что в глазах его скопились слезы: не театральные, а вполне человеческие. «В натуре!», – как сказали бы блатные. Но только Бог его знает, каким сочетанием эмоций были они напоены.

А затем самые оперативно мыслящие рванули к конторе: занимать очередь. Очередь на свободу!

У конторы в две шеренги стояли вооруженные солдаты, и несколько овчарок нервно зевали и повизгивали, не понимая почему это им вдруг стали запрещать голос: что изменилось?

Тревожно было не только собакам – непривычно было и трудармейцам: то ли уже свободным, то ли все еще подконвойным...

– Так то ж почетный каграул, а не вохгра! – истерично пошутил Абрам Троцкер, и все вокруг засмеялись, включая солдат охраны. Только овчарки испугались и прижались к ногам конвоиров.

Из конторы вышел первый рассчитанный трудармеец (кажется, это был «человек-гора» Вильгельм Закк), растерянно и испуганно, как опасную змею зажимая в грубом и огромном, дубовом кулаке пучок бумажных денег, и держа в другой руке справку с печатью, удостоверяющей, что такой-то и такой-то демобилизован такого-то года такого-то числа... стаж... должность... заключенный?... статья?... нет, этого нет; есть: «боец трудовой армии... демобилизован в связи...». Этот здоровенный Закк сел на нижнюю ступеньку крыльца и произнес потрясенным и жалобным голосом:

– Eб twoju Matj!!!..

А перед ним, как перед покойником, стояла молчаливая толпа солдат и трудармейцев, и овчарки жались к ногам своих хозяев и повизгивали с интонациями, в точности повторяющими только что услышанное из уст этого странного врага, на которого почему-то нельзя больше гавкать...

Так закончилась Великая отечественная война для Аугуста Бауэра. Так закончилась его проклятая трудармия... «Мы победили! Немцы разбиты!»: с этими словами Аугусту вручали демобилизационные документы.

Да, Аугуст чувствовал себя разбитым. Но он победил. Он победил лично: он ВЫЖИЛ!!!

Буглаев

Когда Аугуст предстал перед комиссаром, выдающим справки и проездные документы, и тот спросил его, куда ему ордер выписывать, Аугуст сказал: «в Саратов». «Вашим туда запрещено», – ответил ему чекист, – откуда Вас призвали?» (Аугуст чувствовал себя польщенным: с ним говорил на «Вы» и вежливо один из тех, которые еще вчера запросто кричали: «Сгною, ссука! Что думаешь – война закончилась, блядь? Наша война закончится, блядь, когда вас, фашистов, блядь, ни одного на земле не останется, блядь!»)...

– Из Казахстана. Станция Чарск.

– Вот туда и выписывай, – распорядился комиссар штабному писарю, и подмахнул распоряжение на выдачу всей заработанной Аугустом в трудармии суммы денег. «Власть справедлива!», – напомнил он Бауэру на прощанье. Аугуст промолчал, а Троцкер Абрашка, который выходил из конторы вслед за ним ответил на это: «Гитлер капут!». Вместо того чтобы засмеяться, конторские нахмурились почему-то, и Абрам на всякий случай выметнулся наружу вперед Аугуста.

Аугуст вышел из конторы с какими-то справками, маршрутным предписанием и толстой пачкой денежных купюр в кармане: вот сколько деревьев он сокрушил за три года войны! И это – после всех построенных им танков, самолетов и эсминцев! Правда, о покупательной способности этой пачки Аугуст не имел ни малейшего представления: может еще на два истребителя хватить, а может и чистых штанов на эти деньги не купить: черт его знает что сейчас на послевоенной воле творится...

А за дверями конторы между тем вовсю уже бушевали коммерческие отношения, тон которым задавали блатные: они пытались втянуть чудесным образом разбогатевших вдруг трудармейских «буратинов» в картежные игры, или всучить им какую-нибудь рвань в качестве «дембельского шика». «Ты че, баклан, в этих говнодавах домой ехать задумал, что ли? Охерел, козлина? Да тебя в них ни одна баба и на порог не пустит! На, глянь: вот это шкерики; улыбка удачи, а не шкерики! Гони десятку!». А рядом другой деловой разговор на подобную тему: «Ты чё морщишься, хрен штопаный, чё ты морду-та варотишь? Гаани четвертной, я скаазал, быстра я скаазал, а то вааще зааберу шас нахер все тваё бабло – за аскарбление тавара!»....

Аугуст, углубленный в изучение полученных в конторе документов, тоже оказался вдруг по неосторожности в зоне блатной активности; урки обступили его и одобрительно хлопали его по плечам и карманам. Тут бы он и расстался, наверное, с упавшими ему с неба денежками, если бы не бригадир Буглаев.

– Эй, Януарий, греби-ка сюда ко мне, – крикнул он Аугусту, – дело есть!

– Отвали! – отозвались блатные, – не видишь – немец делом занят?

– Сгинь под лавку, рвань уголовная, а то глаз в жопу затолкаю: будешь до самого коммунизма за тухлым пищеварением наблюдать, – презрительно рявкнул Буглаев, – Аугуст, иди сюда, я сказал...

Блатные стали интенсивно сплевывать, переглядываясь; лесорубы, следуя рефлексу, начали привычно стягиваться вокруг бригадира. Видя это, блатные нехотя отступили, шипя пустыми угрозами, как проткнутые шины.

– Ты чего ж это бдительность потерял? – пожурил Аугуста Буглаев, – деньги голову вскружили? – засмеялся он и пушечно жажнул Аугуста ладонью по горбу: – А то с пустыми карманами домой заявишься, всех разочаруешь...

– Нету у меня никакого дома, – буркнул Аугуст в ответ.

– Ну, был бы человек, а дом всегда найдется, – философски изрек Буглаев, – Тебя куда отписали?

– В Казахстан, откуда привезли. В Чарск.

– О, отлично! До Омска вместе поедem. А мне до Свердловска. Ну, согласен? И тебе со мной безопасней будет, и мне с тобой – веселей! Так?

Август сильно удивился. У него с бригадиром были отношения неплохие, даже хорошие, но вовсе не настолько дружеские; вокруг Буглаева вились другие угодники, составлявшие его бригадирскую свиту – Август к тем своим орбитам не принадлежал. Бригадир просто уважал его за молчаливую исполнительность и за постоянное перевыполнение дневных норм; бригадир раскидывал иногда эти перевыполненные Августом и другими ребятами покрепче пункты на более слабых членах бригады, а Август никогда не возражал. Бригадир говорил о нем шутивно-почтительно: «Наш железный Януарий!», и это звучало высокой похвалой. Но не более того. Поэтому тут, у конторы Август совершенно не понял, зачем он Буглаеву понадобился; на запад, небось, половина лагеря подается, так что в попутчиках ни у кого нехватки не будет. Особенно у Буглаева, у которого корешей полно. Что-то тут было не так, что-то не сходилось в симметрии здравого смысла. Но что именно? Впрочем, Август над этой загадкой голову ломать не стал. Он привык доверять своему бригадиру. Не ограбить же тот его собирается в дороге? Так что Август если и удивился немножко затылочной частью головы, которую, соответственно, коротко почесал, то упираться не стал и пожал плечами: вместе так вместе.

О, если б он знал что начнется уже завтра...

* * *

Сам Буглаев был в прошлом школьный учитель физики и боксер-любитель. Однажды в учительской он восторженно высказался по какому-то поводу о маршале Тухачевском, и когда Сталин объявил маршала врагом народа, то неосторожное высказывание припомнили Буглаеву, и его арестовали. Непосредственным поводом для ареста явилась двойка в четверти, выставленная Буглаевом толстой дуре – дочке его коллеги – учителя литературы, хотя тот очень просил поставить четверку. И еще в деле участвовал Исаак Ньютон – английский физик. Вот эта тройка: Маршал Тухачевский, сексот-литератор и Исаак Ньютон с его третьим законом механики совместными усилиями и привели учителя Буглаева на зону. Исаак Ньютон потому, что вложил в уста учителя фразу, что всякое действие вызывает равное ему по величине, но противоположное по направлению противодействие. Этот физический постулат доблестные чекисты, с подачи учителя литературы связали с теплым отношением физика к расстрелянному врагу народа Тухачевскому, и через месяц беспрестанных допросов дознаватели убедили Буглаева в том, что он действительно в завуалированной форме пригрозил товарищу Сталину отомстить противодействием за бывшего маршала, врага народа Тухачевского. Докзательство преступления ткнули Буглаеву в морду: это был донос литератора, где все было изложено черным по белому: и про великого маршала, и про противодействие действием. Буглаеву перед лицом неопровержимой улики и непрекращающихся пыток пришлось сдаться и подписать чистосердечное признание. Причем раскололся он по полной программе, и выдал всю свою шайку, включая учителя литературы – резидента голландской разведки, своего непосредственного шефа, а также всех членов террористического Центра: господ Бойля, Мариотта, Гей-Люссака, сэра Томсона, а также Клаузиуса и еще злобствующего семита Эдисона – самого вредного и изобретательного из всех остальных. Все это пошло в протокол, и ввиду тесного сотрудничества со следствием, Буглаев получил всего двадцать лет (это было гораздо лучше, чем десять лет без права переписки, что означало, по сути, расстрел по умолчанию). Чтобы он понял спасительный результат своего сотрудничества со следствием, чекисты перед отправкой Буглаева на зону показали ему справку о приведении в исполнение приговора по делу его шефа, законспирированного под учителя литературы негодяя, сознавшегося во всех своих преступлениях слишком поздно, когда его уже вели на расстрел. Почему-то Буглаев от этого

сообщения удовлетворения не почувствовал. Он испытал лишь чувство горечи и омерзения: к чекистам, к расстрелянному литератору и к самому себе тоже. Однако, на тот момент с эмоциями пора было заканчивать и настраиваться на десять тысяч раундов жестокого боя за выживание и за право называться человеком – в чем он уже не совсем был уверен.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.